

Александр
БЛОК

*Русь моя,
жизнь моя...*



Александр Александрович Блок

Русь моя, жизнь моя...

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8788277

Александр Блок. Русь моя, жизнь моя...: Эксмо; Москва; 2015

ISBN 978-5-699-76862-2

Аннотация

В этот том вошли многие стихотворения Александра Блока из составленного им «романа в стихах», пронзительные стихотворения о России, поэмы «Возмездие» и «Двенадцать», пьесы, проза разных жанров. Личность Александра Блока, его судьба в неразрывности жизни и литературы – вот объединяющая идея книги. Представлены также фрагменты его дневников и записных книжек, избранные письма, воспоминания современников о Блоке.

Печатаются все произведения поэта, включенные в основные российские школьные программы по литературе.

Содержание

Автобиография	11
Роман в стихах	25
Из «Книги первой» (1898–1904)	28
Из цикла «Ante lucem»[7] (1898–1900)	28
«Пусть светит месяц – ночь темна...»	28
Моей матери	29
Гамаюн, птица вещая (картина в. Васнецова)	29
«Помнишь ли город тревожный...»	30
«Шли мы стезею лазурною...»	31
«Поэт в изгнании и в сомнении...»	32
«В часы вечернего тумана...»	32
«Аграфы догмата»[8]	33
«Твой образ чудится невольно...»	34
«Отрекись от любимых творений...»	34
Из цикла «Стихи о прекрасной даме» (1901–1902)	35
«Ветер принес издалика...»	35
«Душа молчит. В холодном небе...»	36
«Я понял смысл твоих стремлений...»	37
Моей матери	37
«Все бытие и сущее согласно...»	38
«Кто-то шепчет и смеется...»	39

«Небесное умом не измеримо...»	40
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»	40
«За туманом, за лесами...»	41
«Какому Богу служишь ты?...»	42
«Внемля зову жизни смутной...»	43
«Входите все. Во внутренних покоях...»	43
«Ты прошла голубыми путями...»	44
«Сумерки, сумерки вешние...»	45
«Встану я в утро туманное...»	46
«Ранний час. В пути незрима...»	46
«Ты уходишь от земной юдоли...»	47
«Снова ближе вечерние тени...»	48
«Хранила я среди младых созвучий...»	48
«Сгущался мрак церковного порога...»	49
«Ты – Божий день. Мои мечты...»	50
«Там – в улице стоял какой-то дом...»	51
«Мы встречались с тобой на закате...»	52
«Без Меня б твои сны улетали...»	53
Экклесиаст	53
«Она стройна и высока...»	55
«При жолтом свете веселились...»	56
«Явился он на стройном бале...»	56
«Вхожу я в темные храмы...»	57
«Его встречали повсюду...»	58
Из цикла «Распутья» (1902–1904)	59

«Целый год не дрожало окно...»	59
«Зимний ветер играет терновником...»	60
«– Все ли спокойно в народе...»	61
«На Вас было черное закрытое платье...»	62
«Возвратилась в полночь. До утра...»	63
Фабрика	64
«Что с тобой – не знаю и не скрою...»	64
«Плачет ребенок. Под лунным серпом...»	65
Из газет	66
Статуя	68
«Ветер хрипит на мосту меж столбами...»	69
«Светлый сон, ты не обманешь...»	69
«В час, когда пьянеют нарциссы...»	71
Из ранних стихотворений, не включенных в «Роман в стихах»	72
Летний вечер	72
После дождя	73
Перед грозой	73
«О, как безумно за окном...»	74
После грозы	75
Признания	76
Из дневников Александра Блока	80
Из записных книжек Александра Блока	82

1	82
2	83
6	83
8	84
Избранные письма Александра Блока	85
Отцу	86
К. М. Садовской	87
Отцу	89
З. Н. Гиппиус	91
Андрею Белому	93
Л. Д. Менделеевой	98
Л. Д. Менделеевой	101
С. М. Соловьеву	105
Из воспоминаний об Александре Блоке	110
М. А. Бекетова	110
М. А. Бекетова	115
Мать Александра Блока (Влияние матери на сына)	118
Андрей Белый	123
Андрей Белый	126
Из «Книги второй»(1904–1908)	129
Вступление	129
Из цикла «Пузыри земли» (1904–1908)	130
Болотные чертенятки	130
Твари весенние	131
Болотный попик	133

«На весеннем пути в теремок...»	135
«Полюби эту вечность болот...»	136
«Белый конь чуть ступает усталой ногой...»	137
Пляски осенние	138
Из цикла «Разные стихотворения» (1904– 1908)	140
«Фиолетовый запад гнетет...»	140
Моей матери (Помнишь думы?)	141
Балаганчик	142
Моей матери («Тихо. И будет все тише...»)	143
«Старость мертвая бродит вокруг...»	143
«В туманах, над сверканьем рос...»	145
Осенняя воля	146
«Там, в ночной завывающей стуже...»	147
«Там, в ночной завывающей стуже...»	148
«В голубой далекой спальенке...»	149
«Вот Он – Христос – в цепях и розах...»	150
«Так. Неизменно все, как было...»	151
«Прискакала дикой степью...»	152
Сказка о петухе и старушке	153
«Милый брат! Завечерело...»	155
Вербочки	157
Иванова ночь	157
Сольвейг	159

«Прошли года, но ты – все та же...»	161
«Шлейф, забрызганный звездами...»	162
Русь	163
Тишина цветет	165
«Ты можешь по траве зеленой...»	166
«Ищу огней – огней попутных...»	167
«О жизни, догоревшей в хоре...»	168
Балаган	170
Усталость	171
«Зачатый в ночь, я в ночь рожден...»	171
«С каждой весною пути мои круче...»	174
Девушке	175
«Она пришла с заката...»	176
«Я миновал закат багряный...»	177
«Твое лицо мне так знакомо...»	178
Из цикла «Город» (1904–1908)	179
Последний день	179
Петр	181
«Вечность бросила в город...»	182
«Город в красные пределы...»	183
«В кабаках, в переулках, в извивах...»	184
Песенка	186
«Я вам поведал неземное...»	187
Невидимка	188
Митинг	189
«Вися над городом всемирным...»	192

«Твое лицо бледней, чем было...»	193
Незнакомка	194
«Там дамы щеголяют модами...»	197
«Передвечернюю порою...»	198
Холодный день	200
Окна во двор	201
Пожар	202
Клеопатра	204
Из цикла «Снежная маска» (1907)	206
Снежное вино	206
Второе крещение	207
Влюбленность	208
В углу дивана	208
На снежном костре	210
Из цикла «Фаина» (1906–1908)	211
«Я в дольний мир вошла, как в ложу...»	211
«Ушла. Но гиацинты ждали...»	213
Осенняя любовь	214
«В те ночи светлые, пустые...»	217
Снежная дева	218
Заклятие огнем и мраком	220
Конец ознакомительного фрагмента.	222

Александр Блок

Русь моя, жизнь моя...

В коллаже на переплете использованы репродукции работ художников Константина Сомова и Константина Коровина

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Автобиография

Семья моей матери причастна к литературе и к науке.

Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Петербургские Высшие женские курсы, называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым.

В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались.

Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «Eh bien, mon petit...»¹ Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты: старый *Jacob Fidèle*², который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов (по прозвищу *Куран*), у которого было, говорят, на душе убийство; лицо у него было всегда сине-багровое – от водки, а иногда – в крови; он погиб в «кулачном бою». Оба были действительно люди умные и очень симпатичные; я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию.

Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу.

Мои собственные воспоминания о деде – очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного

¹ «Ну, малыш...» (франц.).

² Яков Верный (франц.).

московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу, – очевидно, он засеялся случайно и потом выродился.

Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей; летом 1897 года его разбил паралич, он прожил еще пять лет без языка, его возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург; среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев.

Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед и бабушка моя были с ним дружны. Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения – по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто. Старшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева от второго брака – Любовь Дмитриевна – стала моей невестой. В 1903 году мы обвенчались с ней в церкви села Тараканова, которое находится между Шахматовым и Бобловым.

Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии Григория Силыча Корелина. Она всю жизнь работала над

компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден; последние годы она делала до 200 печатных листов в год; она была очень начитанна и владела несколькими языками; ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль – образный, язык – точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими.

Переводные стихи ее печатались в «Современнике», под псевдонимом «Е. Б.», и в «Английских поэтах» Гербея, без имени. Ею переведены *многие* сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура (поэма «ЛаллаРук»), Бичер-Стоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерея, Диккенса, В. Скотта, Брэт-Гарта, Жорж-Занд, Бальзака, В. Гюго, Флобера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов – далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти *сотни тысяч* томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые «144 тома» (изд. Г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения.

Отвлеченное и «утонченное» удавалось бабушке моей меньше, ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. Долгие годы я помню

смутно, как помнится все детское, ее голос, пальцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков, – и во всем этом – какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни и доктора, известные и неизвестные, продельвавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности.

Эти жизненность и живучесть проникали и в литературные вкусы; при всей тонкости художественного понимания она говорила, что «тайный советник Гете написал вторую часть «Фауста», чтобы удивить глубокомысленных немцев». Также ненавидела она нравственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полушутливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты:

Так, бодрствуя в часы ночные
И внука юного любя,
Старуха-бабка не впервые
Слагала стансы для тебя.

Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова. Одной из последних ее ра-

бот был перевод двух рассказов Чехова на французский язык (для «Revue des deux Mondes»). Чехов прислал ей милую благодарственную записку.

К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок, она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский. Перевод этот печатался во «Времени».

Бабушка моя скончалась ровно через три месяца после деду – 1 октября 1902 года.

От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери – моя мать и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков. Известностью пользовалась старшая – Екатерина Андреевна (по мужу – Краснова). Ей принадлежат изданные уже после ее смерти (4 мая 1892 года) две самостоятельных книги «Рассказов» и «Стихотворений» (последняя книга удостоена почетного отзыва Академии наук). Оригинальная повесть ее «Не судьба» печаталась в «Вестнике Европы». Переводила она с французского (Монтескье, Бернард де Сен-Пьер), испанского (Эспронседа, Бэкёр, Перес Гальдос, статья о Пардо Басан), переделывала английские повести для детей (Стивенсон, Хаггарт; издано у Суворина в «Дешевой библиотеке»).

Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу – Кублицкая-Пиоттух), переводила и переводит с французского – стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Зола, Мюссе, Эркман-Шатриан, Додэ, Боделэр, Верлэн, Ришпэн). В молодости писала стихи, но печатала – только детские.

Мария Андреевна Бекетова переводила и переводит с польского (Сенкевич и мн. др.), немецкого (Гофман), французского (Бальзак, Мюссе). Ей принадлежат популярные переделки (Жюль Верн, Сильвио Пеллико), биографии (Андерсен), монографии для народа (Голландия, История Англии и др.). «Кармозина» Мюссе была не так давно представлена в театре для рабочих в ее переводе.

В семье отца литература играла небольшую роль. Дед мой – лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича, выходца из Мекленбурга (прародитель – лейб-хирург Иван Блок был при Павле I возведен в российское дворянство). Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора – Ариадне Александровне Черкасовой.

Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончался 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть, менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных

лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, – отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Я встречался с ним мало, но помню его кровно.

Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали *слово*; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верлэновски, преобладание имела здесь *éloquence*³; одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к *musique*⁴ находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной *éloquence* обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлэна и не с декадентства вообще.

Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось

³ Красноречие (*франц.*).

⁴ Музыка (*франц.*).

разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

«Жизненных опытов» не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками – и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом – приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет, – в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены).

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три года.

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были – лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100. После я печатал и до сих пор печатаю кое-что из старого в журналах и газетах.

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способство-

вали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех. Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, в доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах. К счастью и к несчастью вместе, «мода» такая пришла, как всегда бывает, именно тогда, когда все внутренне определилось; когда стихии, бушевавшие под землей, хлынули наружу, нашлась толпа любителей легкой мистической наживы. Впоследствии и я отдал дань этому новому кощунственному «веянию»; но все это уже выходит за пределы «автобиографии». Интересующихся могу отослать к стихам моим и к статье «О современном состоянии русского символизма» (журнал «Аполлон» 1910 года). Теперь же возвращусь назад.

От полного незнания и неумения общаться с миром

со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься *этим*, когда в университете бог знает что творится!» – и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах.

После этого случая я долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к Б. Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник.

Уже через год после этого я стал печататься «серьезно». Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы (двоюродная сестра моей матери). Первые мои вещи появились в 1903 году в журнале «Новый путь» и, почти одновременно, в альманахе «Северные цветы».

Семнадцать лет моей жизни я прожил в казармах л. – гв. Гренадерского полка (когда мне было девять лет, мать моя вышла во второй раз замуж за Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух, который служил в полку). Окончив курс в СПб. Введенской

(ныне – императора Петра Великого) гимназии, я поступил на юридический факультет Петербургского университета довольно бессознательно, и только перейдя на третий курс, понял, что совершенно чужд юридической науке. В 1901 году, исключительно важным для меня и решившем мою судьбу, я перешел на филологический факультет, курс которого и прошел, сдав государственный экзамен весной 1906 года (по славяно-русскому отделению).

Университет не сыграл в моей жизни особенно важной роли, но высшее образование дало, во всяком случае, некоторую умственную дисциплину и известные навыки, которые очень помогают мне и в историко-литературных, и в собственных моих критических опытах, и даже в художественной работе (материалы для драмы «Роза и Крест»). С годами я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих уважаемых профессоров – А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского. Если мне удастся собрать книгу моих работ и статей, которые разбросаны в немалом количестве по разным изданиям, но нуждаются в сильной переработке, – долею научности, которая заключена в них, буду я обязан университету.

В сущности, только после окончания «университетского» курса началась моя «самостоятельная» жизнь. Продолжая писать лирические стихотворения, которые все, с 1897 года, можно рассматривать как дневник, я именно в год окон-

чания курса в университете написал свои первые пьесы в драматической форме; главными темами моих статей (кроме чисто литературных) были и остались темы об «интеллигенции и народе», о театре и о русском символизме (*не* в смысле литературной школы только).

Каждый год моей сознательной жизни резко окрашен для меня своей особенной краской. Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть: встречу с Вл. Соловьевым, которого я видел только издали; знакомство с М. С. и О. М. Соловьевыми, З. Н. и Д. С. Мережковскими и с А. Белым; события 1904–1905 года; знакомство с театральной средой, которое началось в театре покойной В. Ф. Коммиссаржевской⁵; крайнее падение литературных нравов и начало «фабричной» литературы, связанное с событиями 1905 года; знакомство с творениями покойного Августа Стриндберга (первоначально – через поэта Вл. Пяста); три заграничных путешествия: я был в Италии – северной (Венеция, Равенна, Милан) и средней (Флоренция, Пиза, Перуджия и много других городов и местечек Умбрии), во Франции (на севере Бретани, в Пиренеях – в окрестностях Биаррица; несколько раз жил в Париже), в Бельгии и Голландии; кроме того, мне приводилось почему-то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad Nauheim (Hessen-Nassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания.

⁵ Здесь и далее в написании фамилии сохранена орфография оригинала.

Этой весной (1915 года) мне пришлось бы возвращаться туда в четвертый раз; но в личную и низшую мистику моих поездок в Bad Nauheim вмешалась общая и высшая мистика войны.

Июнь 1915⁶

⁶ Эта самая подробная автобиография Блока была написана им в октябре 1909 года, а в июне 1915 года отредактирована и значительно дополнена. Печатается по изд.: *Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М.—Л., 1963.*

Роман в стихах



А. Блок. 1903 г.

Александр Блок разделил свою лирику на три книги, понимаемые им как единство трилогии. Этот принцип сохранен и в настоящем издании. В него входят избранные стихотворения из «романа в стихах», представляющие разные стороны сложного образа лирического героя Блока.

В конце каждого раздела даны фрагменты из его дневников, записных книжек, письма, а также воспоминания современников о Блоке.

Стихотворения печатаются по изданию: *Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1–5. М., 1997–1999.*

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОБРАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ

Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое *стихотворение* необходимо для образования *главы*, из нескольких глав составляется *книга*; каждая книга есть часть *трилогии*; всю трилогию я могу назвать «романом в стихах»: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни.

Александр Блок. С.-Петербург. 9 января 1911 г.

Из «Книги первой» (1898–1904)

Из цикла «Ante lucem»⁷ (1898–1900)

«Пусть светит месяц – ночь темна...»

Пусть светит месяц – ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье —
В моей душе любви весна
Не сменил бурного ненастья.
Ночь распростерлась надо мной
И отвечает мертвым взглядом
На тусклый взор души больной,
Облитой острым, сладким ядом.
И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле передрассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц – ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье,
В моей душе любви весна
Не сменил бурного ненастья.

⁷ До света (*лат.*).

Январь 1898. С.-Петербург

Моей матери

Друг, посмотри, как в равнине небесной
Дымные тучки плывут под луной,
Видишь, прорезал эфир бестелесный
Свет ее бледный, бездушный, пустой?

Полно смотреть в это звездное море,
Полно стремиться к холодной луне!
Мало ли счастья в житейском просторе?
Мало ли жару в сердечном огне?

Месяц холодный тебе не ответит,
Звезд отдаленных достигнуть нет сил...
Холод могильный везде тебя встретит
В дальней стране безотрадных светил...

Июль 1898

Гамаюн, птица вещая (картина в. Васнецова)

на глядах бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,

Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар.
Вещает казней ряд кровавых.
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

«Помнишь ли город тревожный...»

К.М.С.

Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли...
Шли мы – луна поднималась
Выше из темных оград,
Ложной дорога казалась —
Я не вернулся назад.

Наша любовь обманулась,
Или стезя увлекла —
Только во мне шевельнулась

Синяя города мгла...
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Мы безрассудно пошли...

23 августа 1899

«Шли мы стезею лазурною...»

Шли мы стезею лазурною,
Только расстались давно...
В ночь непроглядную, бурную
Вдруг распахнулось окно...
Ты ли, виденье неясное?
Сердце остыло едва...
Чую дыхание страстное,
Прежние слышу слова...
Ветер уносит стенания,
Слезы мешают с дождем...
Хочешь обнять на прощание?
Прошлое вспомнить вдвоем?
Мимо, виденье лазурное!
Сердце сжимает тоской
В ночь непроглядную, бурную
Ветер, да образ былой!

28 февраля 1900

«ПОЭТ В ИЗГНАНИИ И В СОМНЕНИИ...»

Поэт в изгнании и в сомнении
На перепутьи двух дорог.
Ночные гаснут впечатленья,
Восход и бледен и далек.

Все нет в прошедшем указания,
Чего желать, куда идти?
И он в сомнении и в изгнании
Остановился на пути.

Но уж в очах горят надежды,
Едва доступные уму,
Что день проснется, вскроет вежды,
И даль привидится ему.

31 марта 1900

«В часы вечернего тумана...»

В часы вечернего тумана
Слетает в вихре и огне
Крылатый ангел от страниц Корана
На душу мертвенную мне.

Ум полон томного бессилья,
Душа летит, летит...
Вокруг шумят бесчисленные крылья,
И песня тайная звенит.

3 июня 1900

«Аграф догмата»⁸

Я видел мрак дневной и свет ночной.
Я видел ужас вечного сомненья.
И Господа с растерзанной душой
В дыму безверья и смятенья.

То был рассвет великого рожденья,
Когда миров нечисленный хаос
Исчезнул в бесконечности мученья. —
И все таинственно роптало и несло.

Тяжелый огонь окутал мирозданье,
И гром остановил стремящие созданья.
Немая грань внедрилась до конца.
Из мрака вышел разум мудреца,
И в горней высоте – без страха и усилья —
Мерцающих идей ему взыграли крылья.

22 августа 1900

⁸ Неписанные догматы (греч.).

«Твой образ чудится невольно...»

Твой образ чудится невольно
Среди знакомых пошлых лиц.
Порой легко, порою больно
Перед Тобой не падать ниц.

В моем забвеньи без печали
Я не могу забыть порой,
Как неутешно тосковали
Мои созвездья над Тобой.

Ты не жила в моем волненьи,
Но в том родном для нас краю —
И в одиноком поклоненьи
Познал я истинность Твою.

22 сентября 1900

«Отрекись от любимых творений...»

Отрекись от любимых творений,
От людей и общений в миру,
Отрекись от мирских вождлений,
Думай день и молись ввечеру.

Если дух твой горит беспокойно,
Отгоняй вдохновения прочь.
Лишь единая мудрость достойна
Перейти в неизбежную ночь.

На земле не узнаешь награды.
Духом ясный пред Божьим лицом,
Догорай, покидая лампаду,
Одиноким и верным огнем.

1 ноября 1900

Из цикла «Стихи о прекрасной даме» (1901–1902)

«Ветер принес издалека...»

Ветер принес издалека
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалика
Звучные песни твои.

29 января 1901

«Душа молчит. В холодном небе...»

Душа молчит. В холодном небе
Все те же звезды ей горят.
Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат...
Она молчит – и внемлет крикам —
И зрит далекие миры,
Но в одиночестве двуликом
Готовит чудные дары,

Дары своим богам готовит
И, умащенная, в тиши,
Неустанущим слухом ловит
Далекий зов другой души...
Так – белых птиц над океаном
Неразлученные сердца
Звучат призывом за туманом,
Понятным им лишь до конца.

3 февраля 1901

«Я понял смысл твоих стремлений...»

Я понял смысл твоих стремлений —
Тебе я заслоняю путь.
Огонь нездешних вожделений
Вздывает девственную грудь.
Моей ли жалкой, слабой речи
Бороться с пламенем твоим
На рубеже безвестной встречи
С началом близким и чужим!

Я понял все и отхожу я.
Благословен грядущий день.
Ты, в алом сумраке ликуя,
Ночную миновала тень.
Но риза девственная зрима,
Мой день с тобою проведен...
Пускай душа неисцелима —
Благословен прошедший сон.

26 февраля 1901

Моей матери

Чем больней душе мятежной,
Тем ясней миры.
Бог лазурный, чистый, нежный
Шлет свои дары.

Шлет невзгоды и печали,
Нежностью объят.
Но чрез них в иные дали
Проникает взгляд.

И больней душе мятежной,
Но ясней миры.
Это Бог лазурный, нежный,
Шлет свои дары.

8 марта 1901

«Все бытие и сущее согласно...»

Все бытие и сущее согласно
В великой, непрестанной тишине.
Смотри туда участно, безучастно, —
Мне все равно – вселенная во мне.
Я чувствую, и верую, и знаю,
Сочувствием провидца не прельстишь.
Я сам в себе с избытком заключаю
Все те огни, какими ты горишь.
Но больше нет ни слабости, ни силы,

Прошедшее, грядущее – во мне.
Все бытие и сущее застыло
В великой, неизменной тишине.

Я здесь в конце, исполненный прозренья,
Я перешел граничную черту.
Я только жду условного виденья,
Чтоб отлететь в иную пустоту.

17 мая 1901

«Кто-то шепчет и смеется...»

Кто-то шепчет и смеется
Сквозь лазоревый туман.
Только мне в тиши взгрустнется —
Снова смех из милых стран!

Снова шепот – и в шептаны
Чья-то ласка, как во сне,
В чьем-то женственном дыханьи,
Видно, вечно радость мне!

Пошепчи, посмейся, милый,
Милый образ, нежный сон;
Ты нездешней, видно, силой
Наделен и окрылен.

20 мая 1901

«Небесное умом не измеримо...»

Небесное умом не измеримо,
Лазурное сокрыто от умов.
Лишь изредка приносят серафимы
Священный сон избранникам миров.

И мнилась мне Российская Венера,
Тяжелую туникой повита,
Бесстрашна в чистоте, нерадостна без меры,
В чертах лица – спокойная мечта.

Она сошла на землю не впервые,
Но вокруг нее толпятся в первый раз
Богатыри не те, и витязи иные...
И странен блеск ее глубоких глаз...

29 мая 1901. С. Шахматово

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»

И тяжкий сон житейского сознания

Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьев

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду – *тоскуя и любя.*

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду – и горестно и низко,
Не одолев смертельныя мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901. С. Шахматово

«За туманом, за лесами...»

За туманом, за лесами
Загорится – пропадет,

Еду влажными полями —
Снова издали мелькнет.

Так блудящими огнями
Поздней ночью, за рекой,
Над печальными лугами
Мы встречаемся с Тобой.

Но и ночью нет ответа,
Ты уйдешь в речной камыш,
Унося источник света,
Снова издали манишь.

14 июня 1901

«Какому Богу служишь ты?...»

Какому Богу служишь ты?
Родны ль тебе в твоём паренье
Передрассветное волненье,
Передзакатные мечты?
Иль ты, сливаясь со звездой,
Сама богиня – и с богами
Гордишься равной красотой, —
И равнодушными очами
Глядишь с нездешней высоты
На пламенеющие тени
Земных молитв и поклонений

Тебе – царица чистоты?

20 июня 1901

«Внемля зову жизни смутной...»

Внемля зову жизни смутной,
Тайно плещущей во мне,
Мысли ложной и минутной
Не отдамся и во сне.
Жду волны – волны попутной
К лучезарной глубине.

Чуть слежу, склонив колени,
Взором кроток, сердцем тих,
Уплывающие тени
Суетливых дел мирских
Средь видений, сновидений,
Голосов миров иных.

3 июля 1901

«Входите все. Во внутренних покоях...»

С. Соловьеву

Входите все. Во внутренних покоях

Завета нет, хоть тайна здесь лежит.
Старинных книг на древних аналоях
Смущает вас оцепеневший вид.

Здесь в них жива святая тайна Бога,
И этим древностям истленья нет.
Вы, гордые, что создали так много,
Внушитель ваш и зодчий – здешний свет.

Напрасно вы исторгнули безбожно
Крикливые хуленья на Творца.
Вы все, рабы свободы невозможной,
Смутитесь здесь пред тайной без конца.

14 июля 1901

«Ты прошла голубыми путями...»

Ты прошла голубыми путями,
За тобою клубится туман.
Вечереющий сумрак над нами
Обратился в желанный обман.
Над твоей голубою дорогой
Протянулась зловещая мгла.
Но с глубокою верою в Бога
Мне и темная церковь светла.

16 июля 1901

«Сумерки, сумерки вешние...»

*Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла и огня за рекой?*

Фет

Сумерки, сумерки вешние,
Хладные волны у ног,
В сердце – надежды нездешние,
Волны бегут на песок.

Отзвуки, песня далекая,
Но различить – не могу.
Плачет душа одинокая
Там, на другом берегу,

Тайна ль моя совершается,
Ты ли зовешь вдалеке?
Лодка ныряет, качается,
Что-то бежит по реке.

В сердце – надежды нездешние,
Кто-то навстречу – бегу...
Отблески, сумерки вешние,
Клики на том берегу.

16 августа 1907

«Встану я в утро туманное...»

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Всходит ко мне на крыльцо!

3 октября 1901

«Ранний час. В пути незрима...»

Ранний час. В пути незрима
Разгорается мечта.
Плещут крылья серафима,

Высь прозрачна, даль чиста.

Из лазурного чертога
Время тайне снизойти.
Белый, белый Ангел Бога
Сеет розы на пути.

Жду в пленительном волнении —
Тайна плачущей жены
Разомкнет златые звенья,
Вскроет крылий белизны.

4 октября 1901

«Ты уходишь от земной юдоли...»

Ты уходишь от земной юдоли,
Сердца лучшего любовь тебе несут.
Страшных снов не жди от новой воли, —
Хоры ангелов, не смертных, припадут.

Припадут и снимут власяницы —
Символ здешних непомерных бед.
Я, в тоске, покину на границе
Твой нездешний, твой небесный след.

Покидай бессилье мироздания,
Твой покой теперь ненарушим.

Предо мною – грань богопознания,
Неизбежный сумрак, черный дым.

6 октября 1901

«Снова ближе вечерние тени...»

Снова ближе вечерние тени,
Ясный день догорает вдали.
Снова сонмы нездешних видений
Всколыхнулись – плывут – подошли.

Что же ты на великую встречу
Не вскрываешь свои глубины?
Или чуешь иного предтечу
Несомненной и близкой весны?

Чуть во мраке светильник завижу,
Поднимусь и, не глядя, лечу.
Ты ж и в сумраке, милая, ближе
К неподвижному жизни ключу.

14 октября 1901

«Хранила я среди младых созвучий...»

Хранила я среди младых созвучий

Задумчивый и нежный образ дня.
Вот дунул вихрь, поднялся прах летучий,
И солнца нет, и сумрак вокруг меня.

Но в келье – май, и я живу, незрима,
Одна, в цветах, и жду другой весны.
Идите прочь – я чую серафима,
Мне чужды здесь земные ваши сны.

Идите прочь, скитальцы, дети, боги!
Я расцвету еще в последний день.
Мои мечты – священные чертоги,
Моя любовь – немеющая тень.

17 октября 1901

«Сгущался мрак церковного порога...»

Сгущался мрак церковного порога
В дни свадеб, в дни рождений, похорон;
А там – вилась широкая дорога.
И путник шел, закатом озарен.

Там не было конца свободной дали,
Но здесь, в тени, не виделось ни зги;
И каждый раз прохожего встречали
Из сумрака ответные шаги.

Церковный свод давал размерным звоном
Всем путникам напутственный ответ;
И в глубине, над сумрачным амвоном,
Остерегающий струился свет.

И, проходя в смеющиеся дали,
Здесь путник ждал, задумчив и смущен,
Чтоб меркнул свет, чтоб звуки замирали...
И дале шел, закатом озарен.

4 января 1902

«Ты – Божий день. Мои мечты...»

Ты – Божий день. Мои мечты —
Орлы, кричащие в лазури.
Под гневом светлой красоты
Они всечасно в вихре бури.

Стрела пронзает их сердца,
Они летят в паденьи диком...
Но и в паденьи – нет конца
Хвалам, и клекоту, и крикам!

21 февраля 1902

«Там – в улице стоял какой-то дом...»

Там – в улице стоял какой-то дом,
И лестница крутая в тьму водила.
Там открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, – и снова тьма бродила.

Там в сумерках белел дверной навес
Под вывеской «Цветы», прикреплен болтом.
Там гул шагов терялся и исчез
На лестнице – при свете лампы желтом.

Там наверху окно смотрело вниз,
Завешанное неподвижной шторой,
И, словно лоб наморщенный, карниз
Гримасу придавал стене – и взоры...

Там в сумерках дрожал в окошках свет,
И было пенье, музыка и танцы.
А с улицы – ни слов, ни звуков нет, —
И только стекло выступали глянца.

По лестнице над сумрачным двором
Мелькала тень, и лампа чуть светила.
Вдруг открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, и снова тьма бродила.

7 мая 1902

«Мы встречались с тобой на закате...»

Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди – на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, стограний —
Не приемлет лазурная тишь...
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Все померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

13 мая 1902

«Без Меня б твои сны улетали...»

Без Меня б твои сны улетали
В безжеланно-туманную высь,
Ты вспомни вечерние дали,
В тихий терем, дитя, постучись.

Я живу над зубчатой землею,
Вечерею в Моем терему.
Приходи, Я тебя успокою,
Милый, милый, тебя обниму.

Отошла Я в снега без возврата,
Но, холодные вихри крутя,
На черте огневого заката
Начертала Я Имя, дитя...

Август 1902

Экклесиаст

Благословляя свет и тень
И веселясь игрою лирной,
Смотри туда – в хаос безмирный,
Куда склоняется твой день.

Цела серебряная цепь,
Твои наполнены кувшины,

Миндаль цветет на дне долины,
И влажным зноем дышит степь.

Идешь ты к дому на горах,
Полдненным солнцем залитая;
Идешь – повязка золотая
В смолистых тонет волосах.

Зачахли каперса цветы,
И вот кузнечик тяжелеет,
И на дороге ужас веет,
И помрачились высоты.

Молоть устали жернова.
Бегут испуганные стражи,
И всех объемлет призрак вражий,
И долу гнутся деревья.

Все диким страхом смятено.
Столпились в кучу люди, звери.
И тщетно замыкают двери
Досель смотревшие в окно.

24 сентября 1902

«Она стройна и высока...»

Она стройна и высока,
Всегда надменна и сурова,
Я каждый день издалека
Следил за ней, на все готовый.

Я знал часы, когда сойдет
Она – и с нею отблеск шаткий.
И, как злодей, за поворот
Бежал за ней, играя в прятки.

Мелькали желтые огни
И электрические свечи.
И он встречал ее в тени,
А я следил и пел их встречи.

Когда, внезапно смущены,
Они предчувствовали что-то,

Меня скрывали в глубины
Слепые темные ворота.

И я, невидимый для всех,
Следил мужчины профиль грубый,
Ее серебристо-черный мех
И что-то шепчущие губы.

27 сентября 1902

«При жолтом свете веселились...»

При жолтом свете веселились,
Всю ночь у стен сжимался круг,
Ряды танцующих двоились,
И мнился неотступный друг.

Желанье поднимало груди,
На лицах отражался зной.
Я проходил с мечтой о чуде,
Томимый похотью чужой...

Казалось, там, за дымкой пыли,
В толпе скрываясь, кто-то жил,
И очи странные следили,
И голос пел и говорил...

Сентябрь 1902

«Явился он на стройном бале...»

Явился он на стройном бале
В блестяще сомкнутом кругу.
Огни зловещие мигали,

И взор описывал дугу.

Всю ночь кружились в шумном танце,
Всю ночь у стен сжимался круг.
И на заре – в оконном глянце
Бесшумный появился друг.

Он встал, и поднял взор совиный,
И смотрит – пристальный – один,

Куда за бледной Коломбиной
Бежал звенящий Арлекин.

А там – в углу – под образами,
В толпе, мятущейся пестро,
Вращая детскими глазами,
Дрожит обманутый Пьеро.

7 октября 1902

«Вхожу я в темные храмы...»

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая – Ты.

25 октября 1902

«Его встречали повсюду...»

Его встречали повсюду
На улицах в сонные дни.
Он шел и нес свое чудо,
Спотыкаясь в морозной тени.

Входил в свою тихую келью,
Зажигал последний свет,

Ставил лампаду веселью
И пышный лилий букет.

Ему дивились со смехом,
Говорили, что он чудак.
Он думал о шубке с мехом
И опять скрывался во мрак.

Однажды его проводили,
Он весел и счастлив был,
А утром в гроб уложили,
И священник тихо служил.

Октябрь 1902

Из цикла «Распутья» (1902–1904)

«Целый год не дрожало окно...»

Андрею Белому

Целый год не дрожало окно,
Не звенела тяжелая дверь;
Все забылось – забылось давно,
И она отворилась теперь.

Суетились, поспешно крестясь...
Выносили серебряный гроб...
И старуха, за ручку держась,

Спотыкалась о снежный сугроб.

Равнодушные лица толпы,
Любопытных соседей набег...
И кругом протоптали тропы,
Осквернив целомудренный снег.

Но, ложась в снеговую постель,
Услыхал заключенный в гробу,
Как вдали запевала метель,
К небесам подымая трубу.

6 января 1903

«Зимний ветер играет терновником...»

Зимний ветер играет терновником,
Задувает в окне свечу.
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я один. Я прощу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты молишься, —
Он играет и шутит с тобой.
О терновник холодный уколешься,
Возвращаясь ночью домой.

Но, давно прислушавшись к счастью,
У окна я тебя подожду.

Ты ему отдаешься со страстию.
Все равно. Я тайну блюду.

Все, что в сердце твоём туманится,
Станет ясно в моей тишине.
И, когда он с тобой расстанется,
Ты признаешься только мне.

20 февраля 1903

«– Все ли спокойно в народе...»

– Все ли спокойно в народе?

– Нет. – Император убит.

Кто-то о новой свободе

На площадях говорит.

– Все ли готовы подняться?

– Нет. Каменеют и ждут.

Кто-то велел дожидаться:

Бродят и песни поют.

– Кто же поставлен у власти?

– Власти не хочет народ.

Дремлют гражданские страсти:

Слышно, что кто-то идет.

– Кто ж он, народный смиритель?

– Темен, и зол, и свиреп:
Инок у входа в обитель
Видел его – и ослеп.

Он к неизведанным безднам
Гонит людей, как стада...
Посохом гонит железным...
– Боже! Бежим от Суда!

3 марта 1903

«На Вас было черное закрытое платье...»

На Вас было черное закрытое платье.
Вы никогда не поднимали глаз.
Только на груди, может быть, над Распятьем,
Вздыхал иногда и шевелился газ.

У Вас был голос серебристо-утомленный.
Ваша речь была таинственно проста.
Кто-то Сильный и Знающий, может быть,
Влюбленный
В Свое Создание, замкнул Вам уста.

Кто был Он – не знаю – никогда не узнаю,
Но к Нему моя ревность, и страх мой к Нему.
Ревную к Божеству, Кому песни слагаю,
Но песни слагаю – я не знаю, Кому.

15 мая 1903. Петербург

«Возвратилась в полночь. До утра...»

Возвратилась в полночь. До утра
Подходила к синим окнам зала.
Где была? – Ушла и не сказала.
Неужели мне пора?

Беспокойно я брожу по зале...
В этих окнах есть намек.
Эти двери мне всю ночь бросали
Скрипы, тени, может быть, упрек?..

Завтра я уйду к себе в ту пору,
Как она придет ко мне рыдать.
Опущу белеющую штору,
Занавешу пологом кровать.

Лягу, робкий, улыбаясь мигу,
И один, вкусив последний хлеб,
Загляжусь в таинственную книгу
Совершившихся судеб.

9 октября 1903

Фабрика

В соседнем доме окна желты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене – а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

24 ноября 1903

«Что с тобой – не знаю и не скрою...»

Что с тобой – не знаю и не скрою —
Ты больна прозрачной белизной.
Милый друг, узнаешь, что с тобою,
Ты узнаешь будущей весной.

Ты поймешь, когда, в подушках лежа,
Ты не сможешь запрокинуть рук.
И тогда сойдет к тебе на ложе
Непрерывный, заунывный звук.

Тень лампадки вздрогнет и встревожит,
Кто-то, отделившись от стены,
Подойдет – и медленно положит
Нежный саван снежной белизны.

5 декабря 1903

«Плачет ребенок. Под лунным серпом...»

Е. П. Иванову

Плачет ребенок. Под лунным серпом
Тащится по полю путник горбатый.
В роще хохочет над круглым горбом
Кто-то косматый, кривой и рогатый.

В поле дорога бледна от луны.
Бледные девушки прячутся в травы.

Руки, как травы, бледны и нежны.
Ветер колышет их влево и вправо.

Шепчет и клонится злак голубой.
Пляшет горбун под луною двурогой.
Кто-то зовет серебристой трубой.
Кто-то бежит озаренной дорогой.

Бледные девушки встали из трав.
Подняли руки к познанию, к молчанию.
Ухом к земле неподвижно припав,
Внемлет горбун ожиданию, дыханию.

В роще косматый беззвучно дрожит.
Месяц упал в озаренные злаки.
Плачет ребенок. И ветер молчит.
Близко труба. И не видно во мраке.

14 декабря 1903

Из газет

Встала в сияньи. Крестила детей.
И дети увидели радостный сон.
Положила, до полу клонясь головой,
Последний земной поклон.

Коля проснулся. Радостно вздохнул,

Голубому сну еще рад наяву.
Прокатился и замер стеклянный гул:
Звенящая дверь хлопнула вниз.

Прошли часы. Приходил человек
С оловянной бляхой на теплой шапке.
Стучал и дожидался у двери человек.
Никто не открыл. Играли в прятки.

Были веселые морозные Святки.

Прятали мамин красный платок.
В платке уходила она по утрам.
Сегодня оставила дома платок:
Дети прятали его по углам.

Подкрались сумерки. Детские тени
Запрыгали на стене при свете фонарей.
Кто-то шел по лестнице, считая ступени.
Сосчитал. И заплакал. И постучал у дверей.

Дети прислушались. Отворили двери.
Толстая соседка принесла им шей.
Сказала: «Кушайте». Встала на колени
И, кланяясь, как мама, крестила детей.

Мамочке не больно, розовые детки.
Мамочка сама на рельсы легла.
Доброму человеку, толстой соседке,

Спасибо, спасибо. Мама не могла...

Мамочке хорошо. Мама умерла.

27 декабря 1903

Статуя

Лошадь влекли под уздцы на чугунный
Мост. Под копытом чернела вода.
Лошадь храпела, и воздух безлунный
Храп сохранял на мосту навсегда.

Песни воды и хрипящие звуки
Тут же вблизи расплывались в хаос.
Их раздирали незримые руки.
В черной воде отраженье неслоь.

Мерный чугун отвечал однотонно.
Разность отпала. И вечность спала.
Черная ночь неподвижно, бездонно —
Лопнувший в бездну ремень увлекла.

Все пребывало. Движенья, страданья —
Не было. Лошадь храпела навек.
И на узде в напряженьи молчанья
Вечно застывший висел человек.

28 декабря 1903

«Ветер хрипит на мосту меж столбами...»

Ветер хрипит на мосту меж столбами,
Черная нить под снегами гудет.

Чудо ползет под моими санями,
Чудо мне сверху поет и поет,

Все мне, певучее, тяжело и трудно,
Песни твои, и снега, и костры...

Чудо, я сплю, я устал непробудно...
Чудо, ложись в снеговые бугры!

28 декабря 1903

«Светлый сон, ты не обманешь...»

Светлый сон, ты не обманешь,
Ляжешь в утренней росе,
Алой пылью тихо встанешь
На закатной полосе.

Солнце небо опояшет,

Вот и вечер – весь в огне.
Зайчик розовый запляшет
По цветочкам на стене.

На балконе, где алеют
Мхи старинных балюстрад,
Деды дремлют и лелеют
Сны французских баррикад.

Мы внимаем ветхим дедам,
Будто статуям из ниш:
Сладко вспомнить за обедом
Старый пламенный Париж,

Протянув больную руку,
Сладко юным погрозить,
Сладко гладить кудри внуку,
О минувшем говорить.

И в алеющем закате
На балконе подремать,
В мягком стеганом халате
Перебраться на кровать...

Скажут: «Поздно, мы устали...»
Разойдутся на заре.
Я с тобой останусь в зале,
Лучик ляжет на ковре.

Милый сон, вечерний лучик...
Тени бархатных ресниц...
В золотистых перьях тучек
Танец нежных вечерниц...

25 февраля 1904

«В час, когда пьянеют нарциссы...»

В час, когда пьянеют нарциссы
И театр в закатном огне,
В полутьму последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне...

Арлекин, забывший о роли?
Ты, моя тихоокая лань?
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений легкую дань?

Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк.
Это – бездна смотрит сквозь лампы —
Ненасытно-жадный паук.

И, пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутюсь и звеня...
Но в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жалея меня.

Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов.
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов.

26 мая 1904. С. Шахматово

Из ранних стихотворений, не включенных в «Роман в стихах»

Летний вечер

Последние лучи заката
Лежат на поле сжатой ржи.
Дремотой розовой объята
Трава некошенной межи.

Ни ветерка, ни крика птицы,
Над рощей – красный диск луны,
И замирает песня жницы
Среди вечерней тишины.

Забудь заботы и печали,
Умчись без цели на коне
В туман и в луговые дали,

Навстречу ночи и луне!

1898; VII. 1916

После дождя

Сирени бледные дождем к земле прибиты...
Замолкла песня соловья;
Немолчно говор слышится сердитый
Случайного ручья.

Природа ждет лучей обетованных:
Цветы поднимут влажный лик,
И вновь в моих садах благоуханных
Раздастся птичий крик.

1 июня 1899

Перед грозой

Закат горел в последний раз.
Светило дня спустилось в тучи,
И их края в прощальный час
Горели пламенем могучим.

А там, в неведомой дали,
Где небо мрачно и зловеще,

Немые грозы с вихрем шли,
Блестя порой зеницей вещей.

Земля немела и ждала,
Прошло глухое рокотанье,
И по деревьям пронесла
Гроза невольное дрожанье.

Казалось, мир – добыча гроз,
Зеницы вскрылись огневые,
И ветер ночи к нам донес
Впервые – слезы грозовые.

31 июля 1899

«О, как безумно за окном...»

Вы, бедные, нагие несчастливцы.

Лир

О, как безумно за окном
Ревет, бушует буря злая,
Несутся тучи, льют дождем,
И ветер воет, замирая!
Ужасна ночь! В такую ночь
Мне жаль людей, лишенных крова,
И сожаленье гонит прочь —
В объяття холода сырого!..

Бороться с мраком и дождем,
Страдальцев участь разделяя...
О, как безумно за окном
Бушует ветер, изнывая!

24 августа 1899

После грозы

Под величавые раскаты
Далеких медленных громов
Встает трава, грозой примята,
И стебли гибкие цветов.

Последний ветер в содроганье
Приводит влажные листы,
Под ярким солнечным сияньем
Блестят зеленые кусты.

Всеохранительная сила,
В своем неведомом пути,
Природу чудно вдохновила
Вернуться к жизни и цвести.

3 июня 1900

Признания

1. Главная черта моего характера – *Нерешительность*

2. Качество, какое я предпочитаю в мужчине – *Ум*

3. Качество, какое я предпочитаю в женщине – *Красота*

4. Мое любимое качество – *Ум и хитрость*

5. Мой главный недостаток – *Слабость характера*

6. Мое любимое занятие – *Театр*

7. Мой идеал счастья – *Непостоянство*

8. Что было бы для меня величайшим несчастьем – *Однообразие во всем*

9. Чем я хотел бы быть – *Артистом императорских театров*

10. Место, где я хотел бы жить – *Шахматово*

11. Мой любимый цвет – *Красный*

12. Мое любимое животное – *Собака и лошадь*

13. Моя любимая птица – *Орел, аист, воробей*

14. Мои любимые писатели прозаики – иностранные – ***отсутствуют***

15. Мои любимые писатели прозаики – русские – *Гоголь, Пушкин*

16. Мои любимые поэты – иностранные – *Шекспир*

17. Мои любимые поэты – русские – *Пушкин, Гоголь, Жуковский*

18. Мои любимые художники – иностранные – ***отсутствуют***

19. Мои любимые художники – русские – *Шишкин, Волков, Бакалович*

20. Мои любимые композиторы – иностранные – ***отсутствуют***

21. Мои любимые композиторы – русские – ***отсутствуют***

22. Мои любимые герои в художественных произведениях – *Гамлет, Петроний, Тарас Бульба*

23. Мои любимые героини в художественных произведениях – *Наташа Ростова*

24. Мои любимые герои в действительной жизни – *Иоанн IV, Нерон, Александр II, Петр I*

25. Мои любимые героини в действительной жизни – *Екатерина Великая*

26. Мои любимые пища и питье – *Мороженое и пиво*

27. Мои любимые имена – *Александр, Константин и Татьяна*

28. Что я больше всего ненавижу – *Цинизм*

29. Какие характеры в истории я всего более презираю – *Малюта Скуратов, Людовик XVI*

30. Каким военным подвигом я всего более восхищаюсь – *Леонида и 300 спартанцев*

31. Какую реформу я всего более ценю – *Отмена телесных наказаний*

32. Каким природным свойством я желал бы обладать – *Силой воли*

33. Каким образом я желал бы умереть – *На сцене от разрыва сердца*

34. Теперешнее состояние моего духа – *Хорошее и почти спокойное*

35. Ошибки, к которым я отношусь наиболее снисходительно – *Те, которые человек совершает необдуманно*

36. Мой девиз – *Пусть чернь слепая суетится, Не нам бессильной подражать... и т. д.*

А. Блок

Наугейм

21 июня (3 июля) 1807⁹

⁹ Впервые эта юношеская анкета Блока была опубликована в книге: *Бекетова М. А. Александр Блок и его мать* (Л., 1925). Здесь печатается по изд.: *Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М. – Л., 1963.* Своим девизом Блок сделал несколько измененные строки Пушкина из стихотворения «Добрый совет» («Пусть чернь слепая суетится, // Не нам безумной подражать...»).

Из дневников Александра Блока

Известны дневники Блока за 1901–1902, 1911, 1912, 1913, 1917–1921 годы. «Писать дневник, или по крайней мере делать время от времени заметки о самом существенном надо нам всем. Весьма вероятно, что наше время – великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки...», – писал Блок в дневнике 1911 года.

В настоящем томе дневники Блока печатаются по изд.: *Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М. – Л., 1963.*

27 декабря 1901

Я раздвоился. И вот жду, сознающий, на опушку, а – другой – совершаю в далеких полях заветное дело. И – ужасный сон! – непостижно начинаю я, ожидающий, тосковать о том, совершающем дело, и о совершенном деле...

<...>

Хоть и не вышло, а хорошая мысль стихотворения; убийца-двойник – совершит и отпадет, а созерцателю-то, который не принимал участия в убийстве, – вся награда. Мысль-то сумасшедшая, да ведь и награда – сумасшествие, которое застынет в сладостном созерцании совершенного другим. Память о ноже будет идеальна, ибо нож был хоть и ре-

ален, но в мечтах – вот она, великая тайна...

<...>

22 марта <1902>

Когда человек примется писать что бы то ни было – письмо или статью какого угодно содержания, – ему ничего не стоит впасть в догматизм. Догматизм есть принадлежность всех великих людей, но это другой догматизм – высший, а нам – меньшим – следует от нашего догматизма избавиться. И вот что могу сказать по этому поводу:

Догматизм, как утверждение некоторых истин, всегда потребен в виде основания (ибо надо же исходить из какого-нибудь основания). Но не лучше ли «без догмата» опираться на бездну – ответственность больше, зато – вернее. Представьте: есть двое молодых и влюбленных. Один думает так, другая – иначе, – и не только думает, а и чувствует – и делает. Но оба любят, – а можно ли, любя, стоять на своем, не верить в то, во что верит любимая или любимый? Тут-то представляется, по-видимому, два исхода: или «броситься в море любви», значит – поверить сердцем и исповедывать то же, что тот, кого любишь, – или твердо стоять на своем и ждать, пока тот, кого любишь, «прозреет» и уверует сам в то, во что ты так твердо веришь. Тот и другой выход странен, сказал бы я (деликатно). Ибо, с одной стороны, нельзя всю жизнь быть в таком очумелом состоянии, чтобы не иметь ничего от себя,

а все от другого, а с другой – нельзя «чертовски разумно» стоять на своем, стучать лбом в стену и ждать у моря погоды. Где же выход?

Выход – в бездне. (И все выходы в ней.) Не утверждай, не отрицай. Верь и не верь. Остальное – приложится тебе. А догматизм оставь, потому что ты – маленький человек – «инфузория», «догадавшаяся о беспредельности».

Из записных книжек Александра Блока

Естественным дополнением к дневникам были для Блока записные книжки, нередко дневник заменявшие. Александр Блок вел записные книжки с детства, первая сохранившаяся относится ко времени, когда ему было тринадцать лет. С 1901 года поэт начинает нумеровать их, собирая в своем архиве. Таким образом, к 1921 году у него оказалось 62 книжки. Однако незадолго до смерти Блок перечитал их, из многих вырезал листы, а пятнадцать книжек уничтожил.

Нумерация арабскими цифрами означает порядковый номер записной книжки.

Записные книжки Блока печатаются по изд.: *Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965.*

В знаменье видел я вещей сон. Что-то порвалось во времени, и ясно явилась мне она, иначе ко мне обращенная, – и раскрылось тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу и вдруг протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью к ней. Я же, держа в руках стихи Соловьева, подавал ей, и вдруг это уж не стихи, а мелкая немецкая книга – и я ошибся. А она все протягивала руки, и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья, я, конечно, проснулся. И явно должно было быть так, ибо иначе неземное познал бы и уже как бы наяву – самый сон обратился бы в состояние пророчественное.

2

13 августа <1902>

Человек этот был не из простых. Бог при создании закутал его сердце в темные ткани; если бы они спали, он восчувствовал бы слишком ярко и не выдержал бы своей любви. Теперь его звали эгоистом. А ему мерещилось иногда.

6

16 июля <1903>

Если у меня будет ребенок, то хуже стихов. Такой же... ¹⁰

¹⁰ Многоточие – в рукописи.

Люба. Любочка. Любушка.

Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет.

У Любочки щечки побледнели. Глазки открылись. Волоски растрепаны. Ручки исцарапала. Совсем беспомощная – слабенькая.

У Любочки пушок на личике. Золотистый. Красное вечернее солнышко его насквозь проглядывает. Пушок золотой.

Из семьи Блоков я выродился. Нежен. Романтик. Но такой же кривляка.

8

Конец апреля <1904>

Живем гораздо скорее окружающих. Погружаемся раньше их в фиолетовый холод дня. *Чувствовать* Ее – лишь в ранней юности и перед смертью (Сереза – также у Вл. Соловьева). Теперь побольше ума. Отказаться от некоторого. Между тем – летом утратить кое-какие памяти, укрепиться, отрезветь, многое сопоставить – прочесть и передумать.

Примирение с позитивистами? Всякие возможности.

* * *

Я слаб, бездарен, немощен. Это *все* ничего. ОНА может всегда появиться над зубчатой горой. Романическое.

* * *

Учить стихи наизусть! Пушкина, Брюсова, Лермонтова, все, что хорошо.

1 мая

Опять беспокойство перед ночью. И часто. И будто все буду знать. Но спячка днем. Работать всячески. Написать стихи – пора! пора! Хочу. Люблю ее.

Избранные письма Александра Блока

Письма Блока не только часть летописи его жизни, они представляются хорошей школой эпистолярного мастерства.

Все письма печатаются полностью по изд.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М. – Л., 1963.

Отцу

18 октября 1898. <Петербург>

Милый папа!

Я все не мог собраться написать Вам; вообще я слаб на счет писанья. Теперь пишу и поздравляю Вас с днем Вашего рожденья.

Теперешней своей жизнью я очень доволен, особенно тем, конечно, что развязался с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования дала мало, разве «общее». В Университете, конечно, гораздо интереснее, а кроме того, очень сильное чувство свободы, которую я, однако, во зло не употребляю и лекции посещаю аккуратно. Относительно будущего пока не думаю, да и рано еще мне, кажется, думать о будущем.

Из лекций меня интересует история русского права, благодаря, вероятно, Сергеевичу, который читает очень популярно, даже немного элементарно. Единственный дурно читающий профессор – Петражицкий, который отвратительно говорит по-русски и сыпет иностранными терминами, не объясняя их, хотя следовало бы ему все-таки помнить, что мы – гимназисты 8-го класса и еще не привыкли к научному языку. Георгиевский и Ефимов читают ровно и очень недурно.

Теперь я довольно часто бываю у Качаловых (по суббо-

там), где все со мной очень милы и любезны. Близко познакомился с кузинами и постоянно провожу с ними время. Кроме того, бываю у Менделеевых, с которыми коротко познакомился летом, когда они устраивали спектакли и я очень много играл и имел даже некоторый успех. Провожу довольно много времени с моим другом Гуном, который теперь на другом факультете, постоянно гуляю по Петербургу, вообще очень весело и приятно провожу время, пишу стихи, иногда пытаюсь писать прозу, но у меня ровно ничего не выходит. Пока еще мое времяпрепровождение довольно водянисто, и писать совсем нечего.

Ваш Саша.

К. М. Садовской

<1898. Петербург>

Чем больше я вижу Тебя, Оксана, тем больше во мне пробуждается то чувство, которое объяснить одним словом нельзя: в нем есть и радость, и грусть, а больше всего горячей, искренней любви, и любовь эта не имеет границ и, мне кажется, никогда не кончится. Чувство это бурно и не дает мне совсем покоя, я имею потребность видеть Тебя как можно чаще, любоваться Тобой и хоть на минуту утишить ту страшную бурю, которая все время бушует у меня в душе; и мне хочется, чтобы Ты, безмятежный ангел, обвеяла меня своими крылами и разрушила сомненья моей больной

души, которая стремится к Тебе только и не находит выхода. Ты скажешь, откуда взялись эти порывы у такого холодного, безнадежного эгоиста, который заботится только *о себе?! Неужели же я не знаю, что я действительно эгоист, и сознание этого часто мучает меня...* Я не могу ждать дольше пятницы нового свидания: если только можешь, то приходи в четверг, я буду ждать Тебя во 2-й линии против дома; мне нужно только видеть Тебя и знать, что Ты со мной; а в пятницу прийти я не могу, меня заставляют исповедываться именно вечером. Странное совпадение! Приходи в четверг, ради бога, моя душа только к Тебе стремится, только Тебя и жаждет. Может быть, Твое письмо поможет мне избавиться от эгоизма, и этим Ты спасешь меня от большого горя в жизни; а если Ты думаешь, что экзамены и пр. будут страдать от этого, то знай, что мне прежде всего нужна жизнь, а жизнь для всякого человека самое главное, потому я и стремлюсь к Тебе и беру от Тебя все источники жизни, света и тепла. Не знаю, может быть, это свойственно моей молодости, но на меня благотворно и живительно действует эта роскошно распускающаяся весна и наполняет все мое существо, особенно когда Ты со мной, а мне кажется часто, что Ты близко от меня, и я думаю,

Не здесь ли Ты легкою тенью,
Мой гений, мой ангел, мой друг,
Беседуешь тихо со мною
И тихо летаешь вокруг?

И робким даришь вдохновеньем,
И сладкий врачуешь недуг,
И тихим даришь сновиденьем,
Мой гений, мой ангел, мой друг...

У меня в сердце постоянно звучат эти чудные строки. А мысль о Тебе действует на меня как музыка: то душа полна грусти, то внезапно замрет от бурного веселья, то жадно стремится к свету. Не правда ли, что это любовь? Будешь ли Ты еще сомневаться?

Я жду теперь Твоих писем, как неземного счастья... Жду Тебя, приходи.

Отцу

8 февраля 1902. Петербург

Милый папа!

У меня к Вам большая просьба: не можете ли Вы прислать мне удостоверение в том, что я – единственный сын. Дело в том, что мне необходимо представить его к 1-му марта в присутствии по воинской повинности; там мне сказали, что в Петербурге такого удостоверения выдать не могут, потому что (очевидно) требуется засвидетельствование отца. – В нашем Университете (который 6 февраля закрыт) происходят ужасные вещи; на сходке требовали активной забастовки, и на

следующий же день «свыше» прекратили занятия. Еще есть, однако, слабая надежда, но вопрос в четырех неделях, потому что Ванновский, по-видимому, приведет в исполнение все, что обещал (Вы, вероятно, знаете уже о «предварительном объявлении» и т. п.). Занятия мои шли бы в нормальных условиях своим порядком, несмотря на сравнительную трудность экзаменов. За зиму я убедился в том, что нетрудно возобновить в памяти мертвые языки, и, кроме того, почувствовал большую «близость» к философии. Теперь изучаю логику и психологию, курсы очень объемистые, но изложение Введенского великолепно. Вообще я мало где бываю и чувствую себя в некоторой отделенности от внешнего мира, совершенно, однако, естественной и свободной, находящей свое разрешение в довольно большом количестве стихов, по-прежнему, несмотря на гражданские струи, лишенных этих преимуществ. Впечатление от Университета какое-то смутное – «временные» и бессильные «организации», которые возят по головам студентов, отчего последние свирепеют уже в последней мере; практических же перспектив трудно и доискаться в этом хаосе, где нельзя даже различить точно, кто первый виноват. Вообще положение очень неопределенно и уже тем самым нежелательно и требует выяснений, которые, впрочем, надо полагать, не очень замедлят. Институты, Женские курсы и Медицинская академия очень тревожатся, как по общим, так и по личным причинам, так что и здесь обещает разыгаться очень серьезная драма.

Ваш Сашура.

З. Н. Гиппиус

<14 июня 1902. Шахматово>

Многоуважаемая Зинаида Николаевна.

Мне все хочется еще обосновать мои соображения, которые я высказывал Вам в последний раз. Думаю, что Вы согласитесь со мной, если я буду точнее: насколько я понял Вас, Вы говорили о некотором «белом» синтезе, долженствующем сочетать и «очистить» (приблизительно): эстетику и этику, эрос и «влюбленность», язычество и «старое» христианство (и дальше – по тому же пути). Спорил же я с Вами только относительно возможной «реальности» этого сочетания, потому что мне кажется, что оно не только и до сих пор составляет «чистую возможность», но и конечные пути к нему еще вполне скрыты от нашей «логики» (в том широком смысле, в каком мы в последний раз употребляли это слово, то есть будь то логика плоти или логика духа). Вы, если я понял до конца, считаете эти пути доступными нашему логическому сознанию даже настолько, что мы можем двигаться по ним, не нарушая и (более того) – поддерживая связь с жизнью, не отталкивая преднамеренно «шумы» жизни, дабы они не заглушали Великого шороха. Мне иногда кажется, что рядом с этим более «реальным» синтезом, но еще дальше и еще желаннее его, существует и уже теперь да-

ет о себе знать во внутреннем откровении (подобном приблизительно Платиновскому и Соловьевскому), но отнюдь не логически, иной – и уже окончательный «апокалипсический» – синтез, именно тот, о котором сказано: «И ничего уже не будет проклятого». «И дух и невеста говорят: прииди». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Кажется же мне это не на одном основании «беспредметности» (которая, впрочем, играет здесь некоторую роль), а также и на следующих основаниях: во-первых, – к тому единству мы можем деятельно стремиться, это же явится «помимо» воли. «И внезапно внидет в дом свой господь», а нам возможно только «учуять ветер с цветущих берегов». Истинный «конец» ведь и помыслить трудно. А во-вторых (и главное), всякий *сколько-нибудь реальный* синтез есть «человеческий» угол зрения. Мы видим только образ грядущего, как видим только образ божий, а не самого бога; а потому – не заключены ли мы по самой природе своей в рамки одного ожидания и *относительного* (по отношению к последнему) бездействия? Ваш ответ на последний пункт был бы для меня ощутительно важен даже по практическим причинам (ведь этот вопрос граничит уже с образом жизни). Сам я все еще редко и с трудом решаюсь пускаться в твердое обоснование всей «сути века», главное потому, что органически не имею в себе большей части необходимого для построения матерьяла, например – сознания общественных связей и древнехристианской этики. Еще мне ужасно важно было бы

узнать Ваше разрешение некоторой частности, именно: если в понятии Эроса совсем отсутствовала «влюбленность», как Вы говорили (т. е. – «тоскованье», мечта о невозможном, Дон-Кихот, «рыцарь бедный»), то как понимать Орфея и Евридику, «платоновскую» любовь и Сапфо? (Если они могут служить возражением, то лишь условным?) Ваша формула открыла для меня такие громадные горизонты, что у меня явилась большая потребность ее проверки на частностях, которые очень могут оказаться исключениями с известной стороны, чего мне очень хочется. – Извините меня за этот ряд отвлеченных и даже, уж наконец, филологических вопросов; очень боюсь Вам наскучить. Я живу в месте очень зеленом и очень тихом, и опять начинает чаще казаться, что на высоте решается «таинственное дело». Тут и покоится ноша мира сего. Если Вы мне напишете, буду Вам благодарен, потому что для меня очень важны Ваши ответы. Решаюсь также просить Вас и о стихах (?).

Преданный Вам.

Андрею Белому

3 января 1903. Петербург

Многоуважаемый Борис Николаевич.

Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства» и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это – «песня системы», которой

я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве ни с какой стороны. Таким образом, я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то – гадательно). По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с точки зрения музыки-искусства, а с точки зрения интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу. Есть ли Ваша статья только «формы искусства»? Конечно, нет. «Не имеем ли мы здесь намек на превращение жизни в мистику»? Следующая фраза еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в «Симфонии» и в статье об Алениной. И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик оттого, что Вы (дай бог, чтобы это не было так!) запленили всю жизнь «миром искусства». «Глубина музыки и *отсутствие в ней внешней действительности* наводят на мысль о нумеральном характере музыки, объясняющей тайну движе-

ния, тайну бытия». Ведь Вы хотите слушать музыку *будущего*! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы *обошли* в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо *во избежание соблазна* здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалипсическая труба не «искуссна» (Ваша 344 страница). Вы последнего слова не сказали, и оттого последние страницы – ужас и сомнение. Ведь это окраина, выющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже изда- лека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее? А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому пути», «Миру искусства». Вы гениально достигли полпути и вдруг свернули, улыбнулись Мережковскому с его символом-соединением (συμ—βάλλω – подумаешь, что все дело в предлоге и глаголе! Мертвая филология, «грех, проклятие и смерть», индийский Дионис с его «символическим» атрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без «созидающего» хохота Вл. Соловьева, с «разлагающим» хохотом Arlekilio – Erl-König!¹¹). Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», inferнальной... о, да! inferнальной! «Она влияет». Тут ведь ка-

¹¹ Арлекино – Лесного царя (нем.).

ламбур, перевод на французский язык слова «инфлуэнца» – influence! (простите за каламбур). Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный всадник на болоте, на белокаменную Москву. В прошлом году я читал Ваше письмо к Зин. Ник. Гиппиус с подписью «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в «Новом пути», но я не видел журнала. В этом письме все *белое*, целый свод апокалипсической белизны. В «Формах искусства» Вы замолчали ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Ницше, на Вагнера, на «бессознательного» (конечно!) Верлэна. Но ведь «музыка сфер» – *мифологическая* глубина, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам (λόγῳ οὐτ ἐν ἀριθμῶ), а других (!) – τῶν μάχαραδσι θεοτίν!¹² Ведь у них у всех последнее самоутверждение, агамемноновские замашки папства народов. Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически). Ваши же цитаты *единственного* не языческого титана гласят:

«Бывшие мгновения поступью беззвучною»... и т. д. (стр. 359).

Разве это о том? Ведь это вот что:

¹² Ни в слове, ни в числе (*греч.*).

Страсти волну с ее пеной кипучей
Тщетным желаньем, дитя, не лови.
Вверх погляди – на недвижно могучий
С небом сходящийся берег любви.

Весь вопрос теперь в том, где у Вас *последняя музыка*, лучше сказать, то, что *перестанет* быть музыкой искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже не «искуссную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»? Есть ли эта последняя музыка – яблоня, обсыпая монашку белыми цветами забвения (2-я Симфония, 4 часть) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»)? Есть ли это «грустно-задумчивое»? Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка вѣдущие сны», или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы и полюбившему вечность)? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны вопросов оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить белое. От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в Вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском и проч. И потому хочу кри-

чать Вам, пока не поздно. Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата, Вам *необходимо* сказать больше, вопить о границах, о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных ворот, тем более что вся глубина, вся «субстанция» Ваших песен о системе – белая, не «бездонная», не «безобразная». Здесь, у нас, где все «гонят лени сон угрюмой», необходимо, чтобы *Вы* сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе» и на Вас «возлагаются надежды» («Симфония» 2-я). Ваши слова гениально прозревают, потому нам нужно их все. Пора угадать имя «Лучезарной Подруги», не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и *без складок*. В складках могут «прятаться». От складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро, во мгновение ока». К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих) в статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас кантовской теории познания). Нам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда». И будет легче, когда будет слышнее цветение Вашего сердца.

Преданный Вам Ал. Блок.

Л. Д. Менделеевой

<13 июня (н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Моя Любовь, моя единственная. Я получил сегодня два

твоих письма. Даже сказать Тебе о них ничего не могу. И вообще трудно говорить с Тобой, опять трудно на таком расстоянии, в такой непривычной обстановке. Здесь совсем животная жизнь, разленивающая и скучная. Мы встаем в 7 часов утра, ждем ванны, после ванны лежим 1 час. Так проходит время почти до Mittag'a¹³ (12½). После него – шатанье по городу и парку, потом в 7 часов вечера – ужин, потом можно идти на террасу слушать музыку, а в 11 часов вечера все запирают. Все уже устроилось, наши комнаты внизу, в довольно тихом месте, все расстояния маленькие. Город я помню наизусть. Боимся знакомств, между тем сегодня утром приходили какие-то два господина и не застали нас, сказали, что придут nach Mittag¹⁴, а мы ушли от них кататься на лодке по озеру, сейчас вернулись и боимся их прихода. Теперь день – длинный, длиннее русского. По вечерам бывает странное и скверное чувство отчужденности и отдаленности от всего. Я скоро устрою себе заполнение дня, по возможности приятное и полезное. Вчера начал писать Тебе и бросил, так бесцветно и пусто выходило. Так и теперь выходит пусто и бесцветно. Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но так нельзя. А немцы до такой степени буржуазно скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязы-

¹³ Обед (нем.).

¹⁴ После обеда (нем.).

вают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчин, ни у женщин. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют больные, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие. Все старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмысленным кажется их существование.

И все-таки, если бы мы были здесь с Тобой вдвоем, просто так, не обращая внимания на леченья и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы бы были совсем вдвоем. Не было бы даже третьей – России. Здесь, по-моему, русский (особенно русский) совсем отделен – без земли, без языка и без людей, и даже к вилле прикреплен только минутой. Вот какое письмо! Я не люблю ни фактов, ни публицистики. И все-таки написал тебе то и другое. А все оттого, что выбился из колеи. Скоро отыщу точки устоя у Соловьева и Достоевского. Нужно «задуматься», чтобы понять хоть что-нибудь. Первые здешние думы были вялы. А немцы не «задумываются», и все остальные видимые люди тоже. На лицах нет той складки, которая даже у нас на улицах различима. Вот где истинно плоски лица, так это здесь – и по всей длине прусских железных дорог. Прости за мои письма. Я

знаю, что Ты там, севернее меня и лучше меня. И помню все, но не могу выразить, или еще не смею снова начинать выражать, оглушенный ужасно прозаической обстановкой. Здесь нужно «осмелиться» сквозь целую ватагу людей, «живущих зверинским обычаем», воззвать к богу и к Тебе. Нужно писать стихи и молиться Твоему богу. А здесь нет бога, его не видели здешние люди.

Твой.

Л. Д. Менделеевой

24 июня (н. ст.) 1903. <Бад-Наугейм>

Около нас есть маленький городок Фридберг. Я там сегодня провел уже второй день. Там две замечательных вещи: собор и дворец нашей нынешней императрицы (когда она была просто Алисой Гессенской). Собор строго готический, весь упирается в небо своими острыми верхушками. Под крышей выглядывают безобразные существа полузвери (как на Notre Dame). Окна узкие, длинные, точно растянулись в постоянном бегстве к небу и так застыли, испещренные тончайшей и сложной канвой узоров. Между двумя богинями приютилась маленькая Богородица с Младенцем, протестантски-некрасивая статуя. Двери окованы так крепко, точно для того, чтобы не выпустить мирян из мрака Лютеровой религии. Красота всего здания совсем исключает многие из евангельских текстов, а небо как раз серое, и ходит упрямый

ветер. Такой страшный божий дом. Когда от него пойдешь по главной улице с домами, крытыми черно-красной черепицей, открывается вид на древний «кремль», окруженный ровом. Главная башня (самая высокая из окрестных) окружена приземистыми стенами и круглыми короткими башнями в трещинках, с окнами для всяких «лыцарских пицалей» (дряню же они стреляли!). Единственный мост через ров; на нем, наверное, визжали ворота, часовой кричал и стучал алебардой, под своды въезжали неуклюжие, закуполенные в латы всадники, густобровые, рыжеусые, герольды в беретах – все пришипленные к лошадям тяжестью одежд. Потом все опять затворялось ржавыми ключами, и наверху загорался сторожевой огонь. – Внутри кремля (ведь он был один сначала, а позже подбежал к нему пестренький городок) – все те же башни с бойницами, толща стен, дворец новейшей постройки. Латинские надписи на воротах, на фонтане, кое-где гербы, памятник какому-то, очевидно, недавнему придворному музыканту или композитору – ничего очень интересного. Сквозь маленькую дверку можно пройти в королевский (или герцогский) сад. Там-то я и застрял. Сад небольшой и разбит совсем особенно – вверху и внизу. Кругом – верхняя дорожка на высоте стенных зубцов, а в середине – глубокая лощина с дорожками и старыми деревьями, увитыми плющом. Сначала идешь, будто крадешься, по узкой дорожке вдоль стены, там темно и холодно понурым розам и георгинам. Потом – поворот – и внезапный вид на

огромную Гессенскую равнину, на обилие земных соков и культурных ухищрений немцев. Под стеной (весь сад на стенах) бежит железная дорога. Дальше – все оттенки дали – от ярко-зеленого до туманно-синего, на горизонтах – горы. У самого края стены – выступы и беседки из деревьев, и последняя, как венец сада, угрюмая, высокая, почти ужасная, выстроенная из толстых неочищенных древесных стволов – серых и узловатых, точно умерших только тогда, когда уже образовалась из них стена. И в беседке – такие же громадные кресла и стол, на которых подобало бы сидеть трехаршинному сюзерену с толстоногим позолоченным кубком.

Это не все еще. Главное, меня поразила и как-то уколола одна аллея из стриженных лип, образующих длинную, сплошь замкнутую вверху галерею. И среди лета – настоящая осень, вся аллея шумит от желтого листа под ногами. С одного боку – обрыв в среднюю лощину, плющ завил стволы сплошь. С другого – мелькает вид на равнину, но чаще кажется, что все кончается сейчас же за обрывом стены, заросшей кустами. Кое-где ютятся холеные холодные розы, опять розы и георгины, усталые от ветра и здешней осени. Если выбрать минуту полного одиночества и взглянуть вдоль аллеи (она прямая, французского типа), – все ждешь узорного пажа, который бежит шаловливо, вприпрыжку, и напрасно разыскивает «ее и его» – местную владелицу замка и заезжего остроумного рыцаря (остроумного, когда ему удалось наконец стащить доспехи). Где они? Не разберешь, не поймет и тот, кто

знает сад, кто сам провел здесь ночь с возлюбленной. Такой уют, несмотря на угрюмость стен, весь сад пропащий (оттого, что там можно пропасть и, надеюсь, не раз пропадали легкомысленно-нарядные пары. А старый граф качал только головой, а поделаться ничего не мог, – да и не хотел). И на долю пажей кое-что перепало, наверное (хоть бы поцелуй короткий и томный, чтобы зажать рот красивому мальчишке), и «наперсницам» бросали кошельки. Все было просто и страстно-интимно, потому что за стеной кончалась жизнь – и начиналась только в следующем таком же замке, непременно вокруг башни, не переходя за границу стен, на равнину. Как заскрипят ворота и гости уедут, – все опять тихо. Все думают: владелец, его дочь и вино в подвалах – каждый заветно и без огласки. – Когда сам ходишь там, все это приходит в голову непосредственно, ждешь подслушать древнюю клятву в верности, застрявшую в рыхлой стене, ждешь увидеть на дорожке розу, такую же сырую от росы и свежую, как она была, когда упала с квадратного выреза толстого негнущегося платья. Хоть давнишнее, а живое. А главное, я представил себе, как Ты идешь со мной рядом и как мы могли бы прожить на стене в саду целое лето, отделившись от всех. Потому я и заметил все это, что представил Тебя Одну со мной. Там хорошо, наверное, в горячую ночь после знойного дня. Мы бы вышли оттуда одичалые и сильные – после такого лета. Но это так потому, что я был там, а не в другом месте. Думаю, что мы и при других условиях можем одичать. Хочешь оди-

чать? Я страстно хочу, хочу, чтобы было поменьше мыслей и ума – и никого, кроме нас.

Я писал Тебе на этих днях все отвратительные письма. Ты сердишься, негодуешь, досадуешь – не знаю. Но знаю, что я готов похищать Тебя, чтобы быть с Тобой вдвоем. Это преследует меня и кружится, кружится, до головокружения, до полета. Теперь – одни, одни, одни, почаще, побольше, подольше, потом – все будет видно. Дивная Ты, красавица, Ты у меня стащила рассудок, бросила его со стены, вот и останься со мной вдвоем.

Твой.

С. М. Соловьеву

20 декабря 1903. Петербург

Милый Сережа.

К тебе и стихам твоим я чувствую глубокую нежность. Люба необыкновенно точно представляет, как ты читаешь «Королевну». Настолько близко, что мне стало «чуть-чуть страшно», как говорится в Писании («Симфония» 1-я героическая). В эту минуту я вдруг опять вспомнил все прошлогоднее с новой силой. Очень и слишком часто приходят в голову эти дни, что было бы теперь, как было бы, если бы все осталось по-старому.

Долго, долго по балкону

Я хожу в вечерней мгле.
Ночь ползет по небосклону
И спускается к земле.

Все *перемены* жизни, и мои лично, и твои, и наши, и те, и другие, и еще, и еще!.. все обвинили меня белой пеленой, обвязали к *чему-то*. Все, что было, отрезало пути к отступлению в детство жизни. И это прекрасно, и к лучшему. Прежде когда-то мне удавалось прожить твою строфу:

Тревога жизни отзвучала
И замирает далеко.
Змеиной страсти злое жало
В душе уснуло глубоко.

Теперь я почти поручусь, что это когда-то, стоящее рядом, навсегда остановилось в воспоминании только, и я бессилён понять такую близкую минуту. Тем более, мне издали поется это каждый день теперь. И рядом с этим, например, Врубель, который меня затягивает и пугает реально, особенно когда вспомнишь, что с ним теперь.

Еще одна разгадка твоих стихов: они требуют отдельного «настроения». Кроме того, часто требуют твоего голоса. Они не гибки или, выражаясь чисто современным декадентским языком, не изысканны. То же самое в стихах Владимира Соловьева: они требуют любви, а не любовь – их. Когда им отдашь любовь, они заполнят годы жизни и ответят во сто

раз больше, чем в них сказано. Может быть, заполнят и целую жизнь. Твои стихи (хотя далеко не все) тоже необходимо полюбить через кого-нибудь: иногда – через твой голос, через однозвучность и скандированье, а иногда через собственную мысль или собственный образ, перехваченный по дороге. Тогда «Королевна» говорит во сто раз больше, чем сказано словами. Также – «Мы шли в последней темноте» и «Золотой качался колос». Эти три – самые любимые мной из последних. «Дымка прозрачного пара» еще под сомнением, там ужасно портит чередование настоящего и прошедшего времени (даже perfectum и imperfectum), – и еще кое-что, что я тебе говорил, особенно – «Брат положил в тихой ласке».

«Королевну» (я для краткости) я читал на днях Семенову (автору драмы и стихов в «Новом пути») и Смирнову (постоянному сотруднику «Нового пути», оба – студенты и поэты). Они отнеслись равнодушно. По этому поводу мне приходит в голову нечто о прерафаэлитстве (ибо ты к нему в последнее время, кажется, близишься, в противоположность мне, удаляющемуся); «Королевну» я нахожу в больш. степени прерафаэлитской. Оно не может быть забыто теперь, но оно не к лицу нашему времени. Лицо искажено судорогой, приходит постоянное желание разглаживать его морщины, но они непременно опять соберутся. Это чересчур просто сказано у меня, но я не чувствую надобности усложнять, потому что это действительно просто до угнетения. Потому же особенно ясно, что теперь именно труднее всего рассказать другому

свой самый светлый сон (это отчасти говорит Гиппиус в предисловии к «Собранию стихов»). Чтобы его поняли, нужно, чтобы любили, а так как все заняты своим делом, – то своевременнее (более ли *вечно* – не знаю) действовать кинжалом, как Брюсов, как Врубель.

Скоро для поэзии наступят средние века. Поэты будут прекрасны и горды, вернуться к самому обаятельному источнику чистой поэзии, снижут нити из всех жемчугов – морского дна, и города, и ожерелья девушек каждой страны. Мне кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады, – воскреснут. Но при этом повторится и кочевая жизнь с оружием в руках и под руками, стилеты под бархатными плащиками, целая жизнь пажа, или трубадура, или крестового рыцаря, или дуэньи, или «дамы сердца» – всех в целостности и полной индивидуальности – *на всю жизнь*. Это как реакция на место богословия, с одной стороны, вздыхающей усталости – с другой. Сологуб и сквозь усталость увидел звезду Маир, реку Лигой, землю Ойле. Что же мы-то, желающие жизни? Я лично хочу, сойдя с астрологической башни, выйти потом из розового куста и спуститься в ров непременно в лунную, голубую траву, пока не появился в зеркале кто-нибудь сквозь простыню. Трудно будет с моими «восковыми чертами», но тем не менее попробую. А пока я болен (простудился) и сижу дома. У мамы – головные боли, у дяди Франца – флюс. О Любе не говорю, чтобы

не сглазить. Пожалуйста, напиши о себе.

У меня к тебе одна нескромная просьба. Скажи, пожалуйста, живет ли у тебя кто-нибудь? Дело в том, что у меня тайное желание ночевать у тебя, когда мы будем в Москве. Люба должна остановиться у своих родственников, которые очень милы, но тем не менее мне бы очень хотелось самому не стесняться их и быть в отношении к ним не слишком в зависимости, чтобы осталось больше времени на мистическую Москву. Предупреждаю тебя, что: 1) ты прежде всего *должен* совершенно обдуманно и искренно сообщить мне, помешаю я тебе или нет; 2) что мы не наверное поедem в Москву; 3) что, если поедem, рассчитаем так, чтобы, проведя дней десять, быть в Москве в день 16 января, притом лучше, чтобы этот день оказался одним из последних дней пребывания в Москве; 4) что я *могу* остановиться у Любиных родственников, которые даже приглашают меня, и обращаюсь к тебе скорее по собственному капризу.

Напиши, мой милый, целую тебя и обнимаю крепко. Все мы тебя любим.

Твой Ал. Блок.

Вот два последних стихотворения.

Пришли мне твои последние стихи.

Из воспоминаний об Александре Блоке

М. А. Бекетова

Со стороны матери Александр Александрович Блок – чисто русский. Мать его – дочь профессора Петербургского университета, известного ректора и поборника высшего женского образования Андрея Николаевича Бекетова, который был женат на Елизавете Григорьевне Карелиной, дочери Григория Силыча Карелина, чрезвычайно талантливого и энергичного исследователя Средней Азии.

<...>

Отец мой Андрей Николаевич был самый живой, разносторонний и яркий из братьев Бекетовых. В ранней молодости он увлекался фурьеризмом, одно время серьезно занимался философией, изучая Платона, был далеко не чужд литературе, уже в старости зачитывался Толстым и Тургеневым, второй частью Гетева Фауста. В общественной деятельности он проявил большую энергию и страстность. Время его ректорства оставило очень яркий след в истории Петербургского университета. Особенно многим обязаны ему студенты, в организацию которых он внес совершенно новые элементы. Ни один ректор ни до, ни после него не был так близок с молодежью.

<...>

...наша мать была чрезвычайно способная музыкантша. Страстно любя музыку, она самоучкой выучилась играть на фортепиано и бойко исполняла трудные сонаты Бетховена и пьесы Шопена, причем исполнение ее отличалось выразительностью и отчетливостью. В нашей семье наклонности и вкусы матери преобладали. Отец не передал склонности к естественным наукам ни одной из своих четырех дочерей. Все мы предпочитали искусство и литературу, но унаследовали от отца большую любовь к природе.

Мать воспитала в нас уважение к труду и стойкость в перенесении невзгод и физических страданий. Но вместе с этим передала и романтику, которой окрашивала все явления жизни. Можно смело сказать, что мы родились и выросли в атмосфере романтизма.

Общим свойством моих родителей было пренебрежение к земным благам и уважение к духовным ценностям. Бедность, которую испытали они в первые годы своего брака, переносили они легко и весело. Ложный стыд и тщеславие были им чужды. Пошлость, скука и общепринятая шаблонность совершенно отсутствовали в атмосфере нашего дома.

Таков был дух той семьи, в которой воспитывался поэтический дар Александра Блока.

<...>

Семья Блоков не имела на поэта непосредственного влияния, но он, несомненно, унаследовал от нее некоторые чер-

ты. <...> Отец поэта был талантливейший пианист с серьезными вкусами. Его любимцами были Бетховен и Шуман. <...> ... исполнение Александра Львовича отличалось точностью, свободой, силой. Но главное его обаяние заключалось в какой-то стихийно-демонической страстности; получалось впечатление вдохновенного порыва, стремительного полета, не передаваемого словами. Музыкальность отца, по видимому, претворилась в сыне особым образом. Она сказалась в необычайной музыкальности его стиха и в разнообразии ритмов.

Наружностью поэт походил на Блоков. Больше всего на деда Льва Александровича. На отца он похож был только сложением и общим складом лица. <...> Так же, как и мать, был он (отец Блока. – *Сост.*) брюнет с серо-зелеными глазами и тонкими чертами лица; черные, сросшиеся брови, продолговатое, бледное лицо, необыкновенно яркие губы и тяжелый взгляд придавали его лицу мрачное выражение. Походка и все движения были резки и порывисты. Короткий смех и легкое заикание сообщали какой-то особый характер его странному, нервному облику. Так же, как и сын, он отличался большой физической силой и крепким здоровьем. Это был человек с большим и своеобразным отвлеченным умом и тонкими литературными вкусами. Его любимцами были Гете, Шекспир и Флобер. Из русских писателей он особенно любил Достоевского и Лермонтова. К «Демону» у него было особенное отношение. Он исключительно ценил не только

поэму Лермонтова, но и оперу Рубинштейна, которую знал наизусть и беспрестанно играл в собственном своем переложении.

<...>

Сын унаследовал от отца сильный темперамент, глубину чувств, некоторые стороны ума. Но характер его был иного склада: в нем преобладали светлые черты матери и деда Бекетова, совершенно несвойственные отцу: доброта, детская доверчивость, щедрость, невинный юмор. Мрачный, демонический облик Александра Львовича вместе с присущим ему обаянием в общем верно очерчен в поэме «Возмездие». Я должна оговорить только то, что касается художественного вымысла: роман между отцом и матерью происходил не совсем так, как изобразил его поэт, и самый облик отца несколько идеализирован. Но III глава есть точное воспроизведение действительности.

<...>

...в нашей бекетовской семье подрастала третья дочь Ася (Александра Андреевна) – будущая мать поэта. В семье ее все любили. Была она добрая, ласковая и необыкновенно веселая девочка. Ее проказы и шалости оживляли весь дом и смешили нас, сестер, до упаду. Но все это уживалось с капризным, причудливым характером, что объяснялось ее нервностью и крайней впечатлительностью. В натуре ее замечались странности, которые проявились в четырнадцатилетнем возрасте при одном, казалось бы, незначительном

случае ее жизни, неожиданно обнаружив какие-то подсознательные глубины ее своеобразной и сложной натуры.

Однажды, прекрасным августовским вечером, она вместе с теткой и сестрами отправилась прокатиться по Неве на ялике. И мимо этого ялика проплыл утопленник. Его несло течением. Вид его тела, намокшей розовой рубахи и слипшихся волос произвел на девочку потрясающее впечатление: она едва дошла до дому, и тут на нее напала такая слабость, что она буквально не могла держаться на ногах: приходилось водить ее под руки, поднимать со стула. Матери не было в городе. Ее заменяла тетка, которая сердилась на Асю, принимая ее поведение за шалость или притворство. Но девочке было не до шуток: весь ее организм был охвачен каким-то странным недугом. Дня три она не могла ни есть, ни спать, смотрела перед собой неподвижным взглядом и молчала. Весь мир приобрел для нее особую окраску, все потеряло смысл, как бы перестало существовать. Это не было чувство страха или жалости, а какой-то бессознательный, мистический ужас перед трагедией жизни и неотвратимостью рока. Если б она могла в то время осознать и оформить свои ощущения, она выразила бы их одним вопросом: «Если так, зачем жить?»

Такова была эта веселая девочка, самая ребячливая и беззаботная из своих сестер. Детского в ней было очень много, и долго оставалась она еще совершенным ребенком, но случая с утопленником никогда не забывала.

<...>

«Александр Блок. Биографический очерк»

(печатается по изд.: Бекетова М. А.

Воспоминания об Александре Блоке.

М.: Правда, 1990. С. 22, 23, 25–26, 27, 28, 29).

М. А. Бекетова

<...>

С семи лет, еще при няне Соне, Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом.

<...>

К сожалению, дат нигде нет. Все эти ранние попытки писать обнаруживают только великую нежность Саши к матери, а также его пристрастие к кораблям и кошкам. Но интересно то, что Саша уже тогда любил сочинять и писал в разном роде, подражая различным образцам.

Заключая первый период Сашиной жизни, скажу еще несколько слов об его характере. Саша был вообще своеобразный ребенок. Одной из его главных особенностей, обнаружившихся уже к семи годам, была какая-то особая замкнутость. Он никогда не говорил про себя в третьем лице, как делают многие дети, вообще не любил рассказывать и разго-

воров не вел иначе как в играх, да и то выбирал всегда роли, не требующие многословия.

<...>

При всей своей замкнутости, маленький Саша отличался необыкновенным прямодушием: он никогда не лгал и был совершенно лишен хитрости и лукавства. Все эти качества были в нем врожденные, на него и не приходилось влиять в этом смысле. Кроме того, он был гордый ребенок. Его очень трудно было заставить просить прощения; выпрашивать что-нибудь, подольщаться, как делают многие дети, он не любил. <...> Но изменить его наклонности, повлиять на него, воспротивиться его желанию или нежеланию было почти невозможно. Он не поддавался никакой ломке: слишком сильна была его индивидуальность, слишком глубоки его страсти и антипатии. Если ему что-нибудь претило, это было непреодолимо, если его к чему-нибудь влекло, это было неудержимо. Таким остался он до конца, а когда сама жизнь начала ломать его, он не выдержал этой ломки. Делать то, что ему несвойственно, было для него не только трудно или неприятно, но прямо губительно. Это свойство унаследовал он от матери. Она тоже *не могла* безнаказанно делать то, что ей не было свойственно.

<...>

Не меньше собак Саша любил лошадей. Он рано выучился ездить верхом, красиво сидел на лошади и ловко и смело ездил. При всей своей любви к лошадям он умел их застав-

лять себя слушаться. Тот белый конь, который упоминается в его лирических стихах и поэме «Возмездие», был высокая, статная лошадь с несомненными признаками заводской крови; его звали Мальчик. Саша уезжал верхом иногда на целые дни и в этих поездках исколесил все окрестности Шахматова на далекое пространство. Во время скучной жизни на Пинских болотах его лучшим удовольствием было по целым часам ездить верхом, совершая длинные одинокие прогулки. У него была прекрасная, но далеко не смиренная лошадь, которую он особенно любил именно за ее способность злиться.

Конечно, он прекрасно знал всех зверей Зоологического сада. Цирковые слоны, тюлени и бегемоты из «Аквариума» тоже были его любимцами. Он рассказывал о них с большой симпатией и очень талантливо их представлял. Любил он и червей и лягушек. В Шахматове был такой случай. В одно жаркое лето развелось очень много червей, которых не выносила Сашина мать. Однажды утром, когда мы пили чай под липами, на скамейке оказались две толстейшие гусеницы: одна ярко-розовая, другая зеленая. Сашина мать, содрогаясь от отвращения, просила Сашу убрать их. «Какие отвратительные!» – говорила она, отворачиваясь от гусениц. Саша взял их в руки и отнес как можно дальше, но сначала заметил примирительным и сочувственным тоном: «А они думают, что они очень красивые».

К птицам Саша был вообще равнодушнее, больше всего любил журавлей. Но зато кур он прямо-таки ненавидел

за буржуазный характер и движения, и жестоко гонял их из цветников, пуская им вслед иногда даже камни.

<...>

Мать Александра Блока *(Влияние матери на сына)*

<...>

По натуре своей она была прежде всего мать, ее отношение к обоим мужьям, за которых она выходила по склонности, было гораздо холоднее. Сын был ее исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью. На нем сосредоточилась вся ее нежность, а с годами любовь эта все углублялась. Этому способствовала, во-первых, врожденная склонность сестры моей к материнству, она еще девочкой мечтала о детях, а во-вторых, исключительное положение, в которое она попала, когда ей пришлось поневоле расстаться с мужем, оберегая сына от проявлений его жестокого характера. В двадцать лет, в ту самую пору, когда властно проявляются страсти женщины, при очень горячем темпераменте – она осталась одна с ребенком без мужа. А муж, молодой, привлекательный и страстно влюбленный, всеми силами противился ее решению, искал встреч с ней и умолял ее вернуться к нему. Много слез стоили ей эти сцены с Александром Львовичем, но то, что она устояла перед этим искушением и не ушла к мужу, показывает, насколько сын был ей дороже

его. И вот на глазах ее растет этот сын, наполняя гордостью и радостью ее материнское сердце. Из прелестного, своеобразного ребенка превращается он в очаровательного юношу-поэта, и вся жизнь его проходит под знаком поэзии. Мать находила в сыне все то, чего не хватало ей в окружающей жизни. Так понятно, что чувство ее к нему все росло и крепло.

<...>

Кроме своей великой любви, Александра Андреевна вложила в сына черты своей натуры. Мать и сын были во многом сходны. Повышенная впечатлительность, нежность, страстность, крайняя нервность, склонность к мистицизму и к философскому углублению жизненных явлений – все это черты, присущие им обоим. К общим чертам матери и сына прибавлю щедрость, искренность, склонность к беспощадному анализу и исканию правды и, наконец, ту детскую веселость, которую Александр Александрович проявлял иногда даже в последний год своей жизни, а мать его утратила годам к тридцати пяти, когда начались первые приступы ее сердечной болезни. В детстве и юности она была самым веселым и жизнерадостным созданием, какое только можно себе представить, но и ей свойственны были те капризы и неровности характера, которые проявились потом у сына. После рождения Саши, когда она отдохнула в родной семье от тяжелых впечатлений разлуки с мужем и зажила эта рана, – хотя и болезненная, но не очень глубокая, – она опять расцвела и из той печальной и робкой женщины, которой стала она за два

года жизни с мужем, опять превратилась в веселое и жизнерадостное существо, напоминавшее скорее молодую девушку, чем женщину и мать, испытавшую столько горя.

<...>

Вообще ее живость и остроумие оживляли всякое общество. Саша был не так экспансивен, как мать. В этом была между ними существенная разница. У нее была непреодолимая потребность высказываться, он же таил свои мысли и чувства в себе или же изливал их в стихах.

Связь между ними была очень сильна. Доказательством этому служат те груды писем к матери, которые доставляют мне столь драгоценный материал. Эту связь поддерживала и общность натур, и близость матери к сыну. До девяти лет он жил всегда в одной комнате с нею. Важно было и то, что Саша рос без отца. Наша семья помогала его матери в заботах о нем, но воспитывала она его сама, как хотела. Я уже говорила, что воспитывать Сашу было очень трудно. Сестра моя делала, что могла. Педагогические приемы были ей чужды. К самим педагогам относилась она очень скептически, считая их в большинстве случаев педантами и тупицами. Она говорила не раз, что воспитывает человека только известная атмосфера, а не дисциплинарные приемы и нравоучения. Когда Саша был еще мальчиком, она подпала под влияние сестры Софьи Андреевны, женщины очень цельной, с твердым характером и принципами и самыми определенными взглядами на жизнь. В это время Александра Андре-

евна старалась воспитывать Сашу, влияя на его характер и поведение обычными приемами, но чем дальше, тем больше убеждалась в том, что к Саше эти приемы неприменимы. Сделать из него благонаправного мальчика было невозможно. Он был хороший мальчик, даже очень хороший, но уж никак не благонаправный. Он никогда не обижал младших братьев даже в пустяках, не затевал никаких злостных шалостей, не лгал, не наущничал, никогда не был груб, но капризы, непослушание, безудержность были ему очень свойственны.

<...> Душа ее рвалась к интересам сына. Она была его первым цензором еще в эпоху издания «Постника». Он доверял ее вкусу, а мать поощряла его к писанию и делала ему дельные замечания, на которые он всегда обращал внимание. Она сразу почуяла в нем поэта и была настолько близка к новым веяниям в литературе, что могла понимать его стихи, как очень немногие. Если бы не ее поощрение и живой интерес к его творчеству, он был бы очень одинок, так как в то время его поэзия казалась большинству очень странной и непонятной. Его обвиняли, как водится, и в ломанье, и в желании быть во что бы то ни стало оригинальным и т. д. А он никогда не был самоуверен. Как же важно было для него поощрение матери, мнением которой он дорожил, относясь к ней с уважением и доверием!

<...>

Впоследствии сын советовался с матерью и при составлении своих сборников. Иногда ей удавалось уговорить его

не поддаваться минутному настроению и не выбрасывать те или другие ценные стихи или сохранить какие-нибудь особенно любимые ею строфы, которые он собирался выкинуть или изменить; в других случаях она же браковала его стихи, находя их слабыми или указывая на недостатки отдельных строк и выражений.

Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни было громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддержала его, когда он задумал перейти на филологический факультет, и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне. Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Любви Дмитриевне совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного харак-

тера. После смерти Александра Александровича они стали ближе. Для тоскующей матери было великой отрадой говорить с невесткой о сыне, тем более что Любовь Дмитриевна имела свойство успокаивать ее нервную тревогу немногими словами, взглядом или улыбкой.

Александра Андреевна пережила сына на полтора года.
<...>

«Александр Блок и его мать»

*(печатается по изд.: Александр Блок
в воспоминаниях современников:*

*В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература,
1980. С. 44, 45, 60–63, 68, 69).*

Андрей Белый

А. А. – это здоровый цвет лица, крепость и статность всей фигуры: он имел в себе нечто от военного, а может быть, и от «добротного молодца». Упругость и твердая сдержанность всех движений несколько контрастировали с застенчиво улыбающимся лицом, чуть-чуть склоненным ко мне, и большими, прекрасными голубыми глазами. Лицо это показалось мне уже знакомым, где-то виданным. Так первое впечатление от облика А. А. вызвало в душе вопрос: «Где я видел его?» Казалось бы, я должен ответить себе: «Да, конечно, я его духовно видел в стихах, в нашей с ним переписке...» Но именно этого-то и не было: образ, возникающий из стихов, ас-

социировался во мне с другим образом: я почему-то духовно видел А. А. не таким: маленького роста, с болезненным, бледно-белым, большим, тяжелым лицом, с большим туловищем, небольшими тяжелыми ногами, в сюртуке, не гармонировавшем с его движениями, очень молчаливым и не улыбающимся, с плотно сжатыми губами и с пристальными небольшими синими глазами: и, разумеется, я видел А. А. с гладкими, будто прилизанными волосами, зачесанными назад. Не то чтобы я думал, что он такой. Нет, – просто этот образ вставал как невольная внешняя ассоциация, сопровождавшая все мысли мои о Блоке. А эта курчавая шапка густых, чуть-чуть рыжеватого оттенка волос, этот большой интеллектуальный лоб, улыбающиеся так открыто и так приветливо губы, и глаза, глядящие с детской доверчивостью не вдаль, а вблизи и несколько сконфуженно, рост, статность – все не соответствовало Блоку, жившему в воображении, Блоку, с которым я обменялся уже рядом писем на интимнейшие темы... <...>

Признаюсь – впечатление внешнего облика, не соответствовавшего «фиктивному» облику, меня застало врасплох. Нечто даже подобное разочарованию поймал я в своей душе и оттого еще больше переконфузился и быстро принялся приветствовать гостя и его супругу, несколько суетясь, пугаясь в движениях, заговаривая зубы собственному своему впечатлению, которое было тотчас же замечено А. А., – оттого он стал ласково любезным, но, как мне кажется, тоже

внутренне смутился. Произошла какая-то заминка в первой нашей с ним встрече, в передней. И с этой заминкой мы прошли в гостиную. <...>

Помнится, меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял неуловимое впечатление, им во мне оставленное, то есть смесь радости, смущенности, некоторой настороженности, любопытства ко всей его личности, вплоть до движения его рук, до движения кончиков его улыбающегося рта, до морщинок около смеющихся глаз его, с мороза покрасневшего и слегка обветренного лица. Это неуловимое настроение с неуловимой быстротой передалось и ему, отчего вся его статная, крупная фигура, с уверенными и несколько сдерживаемыми движениями приобрела какую-то мешковатость. Он как-то внутренне затоптался на месте и, в свою очередь, с выжидательно-любопытной улыбкой точно ждал от меня, я не знаю чего, слов ли, жестов ли, полной ли непринужденности или разрешения моего взволнованного, несколько взвинченного настроения, вызванного нашей встречей.

<...>

Помню я этот морозный январский день, и лучи солнца, падавшие в гостиную, и эту солнцем освещенную, слегка склоненную набок голову, и эти голубые, большие, не то недоумевающие, не то испытующие, но добрые, добрые глаза, и локти рук, упирающиеся в старое кресло, и слегка дрожавшую правую руку, зажавшую папиросу, и голубоватые

дымные струйки.

<...>

*«Воспоминания об Александре Александровиче Блоке»
(печатается по изд.: Александр Блок
в воспоминаниях современников: Т. 1. С. 232–233).*

Андрей Белый

Александр Александрович есть единственно «вечный» из русских поэтов текущего века, соединивший стихию поэзии нашего национального дня с мировой эпохой, преобразивший утонченность непропетого трепета тем, исключительно углубленных в звук, внятный России, раздольный, как ветер, явивший по-новому Душу России...

<...>

Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой то близкий, то дальний (прекрасный – всегда). Мы не знали, кто больше, – поэт национальный, иль чуткий, единственный человек, заслоняемый порфирией поэтической славы, как... тенью, из складок которой порой выступали черты благородного, всепонимающего, нового и прекрасного человека: kalos k'agathos – так и хочется определить сочетание доброты, красоты и правдивости, штриховавшей суровостью мягкий облик души его, не выносящей риторики, аффектации, позы, «поэзии», фальши и прочих «бум-бумов», столь свойственных проповедникам, поэтическим «мэтрам» и прочим «ве-

ликим»; всечеловечное, чуткое и глубокое сердце его отражало эпоху, которую нес он в себе и которую не разложишь на «социологию», «мистику», «философию» или «стилистику»; не объяснишь это сердце, которое, отображая Россию, так билось грядущим, всечеловеческим; и не мирясь с суррогатами истинно-нового, не мирясь с суррогатами вечно-сущего в данном вокруг, – разорвалось: Александр Александрович, не сказав суррогатам того и другого «да будет» – задохся; «трагедия творчества» не пощадила его; мы его потеряли, как... Пушкина; он, как и Пушкин, искал себе смерти: и мы не могли уберечь это сердце; как и всегда, бережем мы лишь память, а не живую, кипящую творчеством бьющую жизнь...

<...>

...потом читал Блок; поразила манера, с которой читал он; сперва не понравилась (после ее оценил); мне казалось: – не музыкально звучали анапесты; голосом точно стирал он певучую музыку собственных строчек, – деловитым, придушенным несколько, трезвым, невыразительным голосом; несколько в нос он читал и порою проглатывал окончание слова (я думаю: для А. А. характерны нечеткие рифмы «границ» и «царицу», в произношении А. А. окончания «ый», просто «ы» прозвучали бы ровно одинаково; а созвучья «обманом – туманные» – сошли бы за рифму); не чувствовалось повышения и понижения голоса, разницы в паузах; будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам; и лицо стано-

вилось у А. А., как голос, тяжелым, застылым; острился теперь большой нос, изгибались губы из брошенной тени; глаза помутнели, как будто бы в них проливалось олово; тяжким металлом окованный, точно броней, так он выглядел в чтении.

<...>

«Воспоминания о Блоке»

(печатается по изд.: Белый Андрей.

Воспоминания о Блоке. М.: Республика, 1995. С. 16–17, 70).

Из «Книги второй»(1904–1908)

Вступление

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копыя заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзвенели,
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —
Уж не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излученный путь...

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!

1905. Страстная Суббота

Из цикла «Пузыри земли» (1904–1908)

Болотные чертенятки

А. М. Ремизову

Я прогнал тебя кнутом
В полдень сквозь кусты,
Чтоб дожидаться здесь вдвоем
Тихой пустоты.

Вот – сидим с тобой на мху
Посреди болот.
Третий – месяц наверху —
Искривил свой рот.

Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой так же стерт.
Тише вод и ниже трав —
Захудалый черт.

На дурацком колпаке
Бубенец разлук.
За плечами – вдалеке —
Сеть речных излук...

И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Зачумленный сон воды,
Ржавчина волны...
Мы – забытые следы
Чьей-то глубины...

Январь 1905

Твари весенние

Из альбома «Kindisch»¹⁵
З. Н. Гиттиус

Золотисты лица купальниц,
Их стебель влажен.
Это вышли молчальницы
Поступью важной
В лесные душистые скважины.

Там, где проталины,
Молчать повелено,
И весной непомерной взлелеяны
Поседелых туманов развалины.

¹⁵ «Детское» (нем.).

Окрестности мхами завалены.
Волосы ночи натянуты туго на срубы
И пни.
Мы в листве и в тени

Издали начинаем вникать в отдаленные трубы.
Приближаются новые дни.
Но пока мы одни,
И молчаливо открыты бескровные губы.

Чуда! о, чуда!
Тихонько дым
Поднимается с пруда...
Мы еще помолчим.

Утро сонной тропею пустило стрелу,
Но одна – на руке, опрокинутой ввысь,
Ладонью в смолистую мглу —
Светляка подняла... Оглянись:
Где ты скроешь зеленого света ночную иглу?

Нет, светись,
Светлячок, молчаливой понятный!
Кусочек света,
Клочочек рассвета...

Будет вам день беззакатный!
С ночью вы не радели —

Вот и все ушло...
Ночку вы не жалели —
И становится слишком светло.
Будете маяться, каяться,
И кусаться, и лаяться,
Вы, зеленые, крепкие, малые,
Твари милые, небывалые.

Туман клубится, проносится
По седым прудам.
Скоро каждый чертик запросится
Ко Святым Местам.

19 февраля 1905

БОЛОТНЫЙ ПОПИК

На весенней проталинке
За вечерней молитвою – маленький
Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой
Чернеется
Чуть заметною точкой.

И в безбурности зорь красноватых
Не видать чертенят бесноватых,
Но вечерняя прелесть

Увила вокруг него свои тонкие руки.
Предзакатные звуки,
Легкий шелест.

Тихонько он молится,
Улыбается, клонится,
Приподняв свою шляпу.

И лягушке хромой, ковыляющей,
Травой исцеляющей
Перевяжет болящую лапу.
Перекрестит и пустит гулять:
«Вот, ступай в родимую гать».

Душа моя рада
Всякому гаду
И всякому зверю
И о всякой вере».

И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится,

За больную звериную лапу,
И за римского папу. —

Не бойся пучины тряской —
Спасет тебя черная ряска.

17 апреля 1905. Пасха

«На весеннем пути в теремок...»

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца
И поднять не посмела лица.

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Там – в березовом дальнем кругу —
Старикашка сгибал из березы дугу
И заметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:
– Ты, красавица, верно – ко мне!
Стосковалась в своей тишине!

За корявые пальцы взялась,
С бородою зеленой сплелась
И с туманом лесным поднялась.

Так тоскуют они об одном,
Так летают они вечерком,
Так венчалась весна с колдуном.

24 апреля 1905

«Полюби эту вечность болот...»

Полюби эту вечность болот:
Никогда не иссякнет их мощь.
Этот знак, что сгорел, – не умрет.
Этот куст – без истления – тощ.

Эти ржавые кочки и пни
Знают твой отдыхающий плен.
Неизменно предвечны они, —
Ты пред Вечностью полон измен.

Одинокая участь светла.
Безначальная доля свята.
Это Вечность Сама снизошла
И навеки замкнула уста.

3 июня 1905

«Белый конь чуть ступает усталой ногой...»

Белый конь чуть ступает усталой ногой,
Где бескрайняя зыбь залегла.
Мне болотная схима – желанный покой,
Будь ночлегом, зеленая мгла!

Алой ленты Твоей надо мной полоса,
Бьется в ноги коня змеевик,
На горе безмятежно поют голоса,
Все о том, как закат Твой велик.

Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом,
С палачом раскаленной земли.
Но сквозь ели прощальный Твой луч мне знаком,
Тишина Твоя дремлет вдали.

Я с Тобой – навсегда, не уйду никогда,
И осеннюю волю отдам.
В этих впадинах тихая дремлет вода,
Запирая ворота безумным ключам.

О, Владычица дней! алой лентой Твоей
Окружила Ты бледно-лазоревый свод!
Знаю, ведаю ласку Подруги моей —
Старину озаренных болот.

3 шоня 1905. Новоселки

Пляски осенние

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля твоя,
Радость ждет сокровенного слова,
И уж ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя.

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый твой голос звенит,
Но молчишь ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За тобой в хороводах расплещут
Осенницы одежды свои.

Осененная реющей влагой,
Распустила ты пряди волос.

Хороводов твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я ни петь, ни плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопую твоей не сгорать.

С нами, к нам – легкокрылая младость,
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам Радость,
И откуда плывет Тишина?

Тишина умирающих знаков —
Это светлая в мире пора:
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдет, как вчера,

Что полеты времен и желаний —
Только всплески девических рук —
На земле, на зеленой поляне,
Неразлучный и радостный круг.

И безбурное солнце не будет
Нарушать и гневить Тишину,
И лесная трава не забудет,
Никогда не забудет весну.

И снежинки по склонам оврага

Заметут, заровняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля твоя.

1 октября 1905

Из цикла «Разные стихотворения» (1904–1908)

«Фиолетовый запад гнетет...»

Фиолетовый запад гнетет,
Как пожатье десницы свинцовой.
Мы летим неизменно вперед —
Исполнители воли суровой.

Нас немного. Все в дымных плащах.
Брызжут искры и блещут кольчуги.
Поднимаем на севере прах,
Оставляем лазурность на юге.

Ставим троны иным временам —
Кто воссядет на темные троны?
Каждый душу разбил пополам
И поставил двойные законы.

Никому неизвестен конец.
И смятение сменяет веселье.
Нам открылось в гаданьи: мертвец
Впереди рассекает ущелье.

14 мая 1904

Моей матери (Помнишь думы?)

Помнишь думы? Они улетели.
Отцвели завитки гиацинта.
Мы провидели светлые цели
В отдаленных краях лабиринта.

Нам казалось: мы кратко блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни...
Возвратились – и нас не узнали,
И не встретили в милой отчизне.

И никто не спросил о Планете,
Где мы близились к юности вечной...
Пусть погибнут безумные дети
За стезей ослепительно млечной!

Но в бесцельном, быть может, кружены
Были мы, как избранники, нищи.
И теперь возвратились в сомненьи
В дорогое, родное жилище...

Так. Не жди изменений бесцельных.
Не смущайся забвеньем. Не числи.
Пусть к тебе – о краях запредельных
Не придут и спокойные мысли.

Но, прекрасному прошлому радо, —
Пусть о будущем сердце не плачет.
Тихо ведаю: будет награда:
Ослепительный Всадник прискачет.

4 декабря 1904

Балаганчик

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный черт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.

Июль 1905

Моей матери («Тихо. И будет все тише...»)

Тихо. И будет все тише.
Флаг бесполезный опущен.
Только флюгарка на крыше
Сладко поет о грядущем.

Ветром в полнебе раскинут,
Дымом и солнцем взволнован,
Бедный петух очарован,
В синюю глубь опрокинут.

В круге окна слухового
Лик мой, как нимбом, украшен.
Профиль лица воскового
Правилен, прост и нестрашен.

Смолы пахучие жарки,
Дали извечно туманны...
Сладки мне песни флюгарки:
Пой, петушок оловянный!

Июль 1905

«Старость мертвая бродит вокруг...»

Старость мертвая бродит вокруг,
В зеленях утонула дорожка.
Я пилю наверху полукруг —
Я пилю слуховое окошко.

Чую дали – и капли смолы
Проступают в сосновые жилки.
Прорываются визги пилы,
И летят золотые опилки.

Вот последний свистящий раскол —
И дощечка летит в неизвестность...
В остром запахе тающих смол
Подо мной распахнулась окрестность...

Все закатное небо – в дремѣ,
Удлиняются дольные тени,
И на розовой гаснет корме
Уплывающий кормщик весенний...

Вот – мы с ним уплываем во тьму,
И корабль исчезает летучий...
Вот и кормщик – звездой падучей —
До свиданья!.. летит за корму...

Июль 1905

«В туманах, над сверканьем рос...»

В туманах, над сверканьем рос,
Безжалостный, святой и мудрый,
Я в старом парке дедов рос,
И солнце золотило кудри.

Не погасал лесной пожар,
Но, гарью солнечной влекомый,
Стрелой бросался я в угар,
Целуя воздух незнакомый.

И проходили сонмы лиц,
Всегда чужих и вечно взрослых,
Но я любил взлетанье птиц,
И лодку, и на лодке весла.

Я уплывал один в затон
Бездонной заводи и мутной,
Где утлый остров окружен
Стеною ельника уютной.

И там в развесистую ель
Я доску клал и с нею реял,
И таяла моя качель,
И сонный ветер тихо веял.

И было, как на Рождестве,
Когда игра давалась даром,
А жизнь всходила синим паром
К сусально-звездной синеве.

Июль 1905

Осенняя воля

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или каменным путем влекомый
Нищий, распеваящий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки люблю...

Много нас – свободных, юных, статных
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905. Рогачевское шоссе

«Там, в ночной завывающей стуже...»

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,

Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905

«Там, в ночной завывающей стуже...»

Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо.
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо.

Вот плывут ее выюжные трели,
Звезды светлые шлейфом влача,
И взлетающий бубен метели,
Бубенцами призывно бренча.

С легким треском рассыпался веер, —
Ах, что значит – не пить и не есть!

Но в глазах, обращенных на север,
Мне холодному – жгучая весть...

И над мигом свивая покровы,
Вся окутана звездами вьюг,
Уплываешь ты в сумрак снеговой,
Мой от века загаданный друг.

Август 1905

«В голубой далекой спальне...»

В голубой далекой спальне
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.

Все, как было. Только странная
Воцарилась тишина.
И в окне твоём – туманная
Только улица страшна.

Словно что-то недосказано,
Что всегда звучит, всегда...
Нить какая-то развязана,
Сочетавшая года.

И прошла ты, сонно-белая,

Вдоль по комнатам одна.
Опустила, вся несмелая,
Штору синего окна.

И потом, едва заметная,
Тонкий полог подняла.
И, как время, безрассветная,
Шевелясь, поникла мгла.

Стало тихо в дальней спальне —
Синий сумрак и покой,
Оттого что карлик маленький
Держит маятник рукой.

4 октября 1905

«Вот Он – Христос – в цепях и розах...»

Евгению Иванову

Вот Он – Христос – в цепях и розах —
За решеткой моей тюрьмы.
Вот Агнец Кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо.

Но Лик и синее небо – одно.

Единый, Светлый, немного грустный —
За Ним восходит хлебный знак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.

И все так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего Ока,
Пока не станешь сам, как стезя...

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый знак.

10 октября 1905

«Так. Неизменно все, как было...»

Так. Неизменно все, как было.
Я в старом ласковом бреду.
Ты для меня остановила
Времен живую череду.

И я пришел, плющом венчанный,
Как в юности, – к истокам рек.

И над водой, за мглой туманной, —
Мне улыбнулся тот же берег.

И те же явственные звуки
Меня зовут из камыша.
И те же матовые руки
Провидит вещая душа.

Как будто время позабыло
И ничего не унесло,
И неизменным сохранило
Певучей юности русло.

И так же вечен я и мирен,
Как был давно, в годину сна.
И тяжким золотом кумирен
Моя душа убелена.

10 октября 1905

«Прискакала дикой степью...»

Прискакала дикой степью
На вспененном скакуне.
«Долго ль будешь лязгать цепью?
Выходи плясать ко мне!»

Рукавом в окно мне машет,

Красным криком зажжена,
Так и манит, так и пляшет,
И ласкает скакуна.

«А, не хочешь! Ну, так с Богом!»
Пыль клубами завилась...
По тропам и по дорогам
В чистом поле понеслась...

Не меня ты любишь, Млада,
Дикой вольности сестра!
Любишь краденые клады,
Полуночный свист костра!

И в степях, среди тумана,
Ты страшна своей красой —
Разметавшейся у стана
Рыжей спутанной косой!

31 октября 1905

Сказка о петухе и старушке

Петуха упустила старушка,
Золотого, как день, петуха!
Не сама отворилась клетушка,
Долго ль в зимнюю ночь до греха!

И на белом узорном крылечке
Промелькнул золотой гребешок...
А старуха спускается с печки,
Все не может найти посошок...

Вот – ударило светом в оконце,
Загорелся старушечий глаз...
На дворе – словно яркое солнце,
Деревенька стоит напоказ.

Эх, какая беда приключилась,
Впопыхах не нащупать клюки...
Ишь, проклятая, где завалилась!..
А у страха глаза велики:

Вон стоит он в углу, озаренный,
Из-под шапки таращит глаза...
А на улице снежной и сонной
Суматоха, возня, голоса...

Прибежали к старухину дому,
Захватили ведро, кто не глуп...
А уж в кучке золы – незнакомый
Робко съежился маленький труп...

Долго, бабушка, верно, искала,
Не сыскала ты свой посошок...
Петушка своего потеряла,
Ан, нашел тебя сам петушок!

Зимний ветер гуляет и свищет,
Все играет с торчащей трубой...
Мертвый глаз будто все еще ищет,
Где пропал петушок... золотой.

А над кучкой золы разметенной,
Где гулял и клевал петушок,
То погаснет, то вспыхнет червонный
Золотой, удалой гребешок.

11 января 1906

«Милый брат! Завечерело...»

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла.

Проплыла она – и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая легка.

Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами – семафора

Зеленеет огонек.

Небо – в зареве лиловом,
Свет лиловый на снегах,
Словно мы – в пространстве новом,
Словно – в новых временах.

Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыплет нам ресницы
Белоснежная метель...

Издали – локомотива
Поступь тяжкая слышна...
Скоро Финского залива
Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядую камыша.

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре...

Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.

Скажет каждому: «Будь весел.
За окном лежат снега».

13 января 1906

Вербочки

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

1—10 февраля 1906

Иванова ночь

Мы выйдем в сад с тобою, скромной,
И будем странствовать одни.
Ты будешь за травую темной
Искать купальские огни.

Я буду ждать с глубокой верой
Чудес, желаемых тобой:
Пусть вспыхнет папоротник серый
Под встрепенувшейся рукой.

Ночь полыхнет зеленым светом, —
Ведь с нею вместе вспыхнешь ты,
Упоена в волшебстве этом
Двойной отравой красоты!

Я буду ждать, любуясь втайне,
Ночных желаний не будя.
Твоих девичьих очертаний —
Не бойся – не спугну, дитя!

Но, если ночь, встряхнув ветвями,
Захочет в небе изнемочь,
Я загляну в тебя глазами
Туманными, как эта ночь.

И будет миг, когда ты снидешь
Еще в иные небеса.
И в новых небесах увидишь
Лишь две звезды – мои глаза.

Миг! В этом небе глаз упорных
Ты вся отражена – смотри!
И под навес ветвей узорных
Проникло таинство зари.

12 февраля 1906

Сольвейг

Сергею Городецкому

*Сольвейг прибегает на лыжах.
Ибсен. Пер Гюнт*

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
Улыбнулась пришедшей весне!

Жил я в бедной и темной избушке моей
Много дней, меж камней, без огней.

Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул —
Я топор широко размахнул!

Я смеюсь и крушу вековую сосну,
Я встречаю невесту – весну!

Пусть над новой избой

Будет свод голубой —
Полно соснам скрывать синеву!

Это небо – твое!
Это небо – мое!
Пусть недаром я гордым слыву!

Жил в лесу, как во сне,
Пел молитвы сосне,
Надо мной распростершей красу.

Ты пришла – и светло,
Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!

Слышишь звонкий топор? Видишь радостный взор,
На тебя устремленный в упор?

Слышишь песню мою? Я крушу и пою
Про весеннюю Сольвейг мою!

Под моим топором, распевая хвалы,
Раскачнулись в лазури стволы!

Голос твой – он звончей песен старой сосны!
Сольвейг! Песня зеленой весны!

20 февраля 1906

«Прошли года, но ты – все та же...»

*Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года.
Тютчев*

Прошли года, но ты – все та же:
Строга, прекрасна и ясна;
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.

А я – склонен над грудой книжной,
Высокий, сгорбленный старик, —
С одною думой непостижной
Смотрю на твой спокойный лик.

Да. Нас года не изменили.
Живем и дышим, как тогда,
И, вспоминая, сохранили
Те баснословные года...

Их светлый пепел – в длинной урне.
Наш светлый дух – в лазурной мгле.
И все чудесней, все лазурней —
Дышать прошедшим на земле.

30 мая 1906

«Шлейф, забрызганный звездами...»

Шлейф, забрызганный звездами,
Синий, синий, синий взор.
Меж землей и небесами
Вихрем поднятый костер.

Жизнь и смерть в круженьи вечном,
Вся – в шелках тугих —
Ты – путям открыта млечным,
Скрыта в тучах грозových.

Пали душевные туманы.
Гасни, гасни, свет, пролейся, мгла...
Ты – рукою узкой, белой, странной
Факел-кубок в руки мне дала.

Кубок-факел брошу в купол синий —
Расплеснется млечный путь.
Ты одна взойдешь над всей пустыней
Шлейф кометы развернуть.

Дай серебряных коснуться складок,
Равнодушным сердцем знать,
Как мой путь страдальный сладок,
Как легко и ясно умирать.

Сентябрь 1906

Русь

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне – ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга
До крыши – утлое жильё,
И девушка на злого друга

Под снегом точит лезвие.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так – я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал,
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого Бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты,
И вот, она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь,

Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

24 сентября 1906

Тишина цветет

Здесь тишина цветет и движет
Тяжелым кораблем души,
И ветер, пес послушный, лижет
Чуть пригнутые камыши.

Здесь в заводь праздную желанье
Свои приводит корабли.
И сладко тихое незнание
О дальних ропотах земли.

Здесь легким образам и думам
Я отдаю стихи мои,
И томным их встречают шумом
Реки согласные струи.

И, томно опустив ресницы,
Вы, девушки, в стихах прочли,
Как от страницы до страницы
Вдаль потянули журавли.

И каждый звук был вам намеком

И несказанным – каждый стих.
И вы любили на широком
Просторе легких рифм моих.

И каждая навек узнала
И не забудет никогда,
Как обнимала, целовала,
Как пела тихая вода.

Октябрь 1906

«Ты можешь по траве зеленой...»

Ты можешь по траве зеленой
Всю церковь обойти,
И сесть на паперти замшёной,
И кружево плести.

Ты можешь опустить ресницы,
Когда я прохожу,
Поправить кофточку из ситца,
Когда я погляжу.

Твои глаза еще невинны,
Как цветик голубой,
И эти косы слишком длинны
Для шляпки городской.

Но ты гуляешь с красным бантом
И семячки лущишь,
Телеграфисту с желтым кантом
Букетики даришь.

И потому – ты будешь рада
Сквозь мокрую траву
Прийти в туман чужого сада,
Когда я позову.

Октябрь 1906

«Ищу огней – огней попутных...»

Ищу огней – огней попутных
В твой черный, ведовской предел.
Меж темных заводей и мутных
Огромный месяц покраснел.

Его двойник плывет над лесом
И скоро станет золотым.
Тогда – простор болотным бесам,
И водяным, и лесовым.

Вертлявый бес верхушкой ели
Проткнет небесный золотой,
И долго будут петь свирели,
И стадо звякать за рекой...

И дальше путь, и месяц выше,
И звезды меркнут в серебре.
И тихо озарились крыши
В ночной деревне, на горе.

Иду, и холодеют росы,
И серебрятся о тебе,
Все о тебе, расплетшей косы
Для друга тайного, в избе.

Дай мне пахучих, душистых зелий
И ядом сладким заморочь,
Чтоб, раз вкусив твоих веселий,
Навеки помнить эту ночь.

Октябрь 1906

«О жизни, догоревшей в хоре...»

О жизни, догоревшей в хоре
На темном клиросе Твоем.
О Деве с тайной в светлом взоре
Над осиянным алтарем.

О томных девушках у двери,
Где вечный сумрак и хвала.
О дальней Мэри, светлой Мэри,

В чьих взорах – свет, в чьих косах – мгла.

Ты дремлешь, Боже, на иконе,
В дыму камильниц голубых.
Я пред тобою, на амвоне,
Я – сумрак улиц городских.

Со мной весна в твой храм вступила,
Она со мной обручена.
Я – голубой, как дым кадила,
Она – туманная весна.

И мы под сводом веем, веем,
Мы стелемся над алтарем,
Мы над народом чары деем
И Мэри светлую поем.

И девушки у темной двери,
На всех ступенях алтаря —
Как засветлевшая от Мэри
Передзакатная заря.

И чей-то душный, тонкий волос
Скользит и веет вокруг лица,
И на амвоне женский голос
Поет о Мэри без конца.

О розах над ее иконой,
Где вечный сумрак и хвала,

О деве дальней, благосклонной,
В чьих взорах – свет, в чьих косах – мгла.

Ноябрь 1906

Балаган

*Ну, старая кляча, пойдём ломать своего
Шекспира.
Кин*

Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти.

Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Ноябрь 1906

Усталость

Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.

И краток путь средь долгой ночи,
Друзья, близка ночная твердь!
И даже рифмы нет короче
Глухой, крылатой рифмы: смерть.

И есть ланит живая алость,
Печаль свиданий и разлук...
Но есть паденье, и усталость,
И торжество предсмертных мук.

14 февраля 1907

«Зачатый в ночь, я в ночь рожден...»

Зачатый в ночь, я в ночь рожден,

И вскрикнул я, прозрев:
Так тяжек матери был стон,
Так черен ночи зев.

Когда же сумрак поредел,
Унылый день повлек
Клубок однообразных дел,
Безрадостный клубок.

Что быть должно – то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот – я стал поэт.

Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз.
И был я в розовых цепях
У женщин много раз.

И все, как быть должно, пошло:
Любовь, стихи, тоска:
Все приняла в свое русло
Спокойная река.

Как ночь слепа, так я был слеп,
И думал жить слепой...
Но раз открыли темный склеп,
Сказали: *Бог с тобой.*

В ту ночь был белый ледоход,
Разлив осенних вод.
Я думал: «Вот, река идет».
И я пошел вперед.

В ту ночь река во мгле была,
И в ночь и в темноту
Та – незнакомая – пришла
И встала на мосту.

Она была – живой костер
Из снега и вина.
Кто раз взглянул в желанный взор,
Тот знает, кто она.

И тихо за руку взяла
И глянула в лицо.
И маску белую дала
И светлое кольцо.

«Довольно жить, оставь слова,
Я, как метель, звонка,
Иною жизнью жива,
Иным огнем ярка».

Она зовет. Она манит.
В снегах земля и твердь.
Что мне поет? Что мне звенит?
Иная жизнь? Глухая смерть?

12 апреля 1907

«С каждой весною пути мои круче...»

С каждой весною пути мои круче,
Мертвенней сумрак очей.
С каждой весною ясней и певучей
Таинства белых ночей.

Месяц ладью опрокинул в последней
Бледной могиле, – и вот
Стертые лица и пьяные бредни...
Карты... Цыганка поет.

Смехом волнуемый черным и громким,
Был у нас пламенный лик.
Свет набежал. Промелькнули потемки.
Вот он: бесстрастен и дик.

Видишь, и мне наступила на горло,
Душит красавица ночь...
Краски последние смыла и стерла...
Что ж? Если можешь, пророчь...

Ласки мои неумелы и грубы,
Ты же – нежнее, чем май.
Что же? Целуй в помертвелые губы.

Пояс печальный снимай.

7 мая 1907

Девушке

Ты перед ним, что стебель гибкий,
Он пред тобой, что лютый зверь.
Не соблазняй его улыбкой,
Молчи, когда стучится в дверь.

А если он ворвется силой,
За дверью стань и стереги:
Успеешь – в горнице немилрой
Сухие стены подожги.

А если близок час позорный,
Ты повернись лицом к углу,
Свяжи узлом платок свой черный
И в черный узел спрячь иглу.

И пусть игла твоя вонзится
В ладони грубые, когда
В его руках ты будешь биться,
Крича от боли и стыда...

И пусть в угаре страсти грубой
Он не запомнит, сгоряча,

Твои оттиснутые зубы
Глубоким шрамом вдоль плеча!

6 июня 1907

«Она пришла с заката...»

Она пришла с заката.
Был плащ ее заколот
Цветком нездешних стран.

Звала меня куда-то
В бесцельный зимний холод
И в северный туман.

И был костер в полночи.
И пламя языками
Лизало небеса.

Сияли ярко очи,
И черными змеями
Распуталась коса.

И змеи окрутили
Мой ум, и дух высокий
Распяли на кресте.

И в вихре снежной пыли

Я верен черноокой
Змеиной красоте.

8 ноября 1907

«Я миновал закат багряный...»

Я миновал закат багряный,
Ряды строений миновал,

Вступил в обманы и туманы, —
Огнями мне сверкнул вокзал...

Я сдавлен давкой человеческой,
Едва не отгеснен назад...
И вот – ее глаза и плечи,
И черных перьев водопад...

Проходит в час определенный,
За нею – карлик, шлейф влача...
И я смотрю вослед, влюбленный,
Как пленный раб – на палача...

Она проходит – и не взглянет,
Пренебрежением казня...
И только карлик не устанет
Глядеть с усмешкой на меня.

Февраль 1908

«Твое лицо мне так знакомо...»

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты жила со мной.
В гостях, на улице и дома
Я вижу тонкий профиль твой.
Твои шаги звенят за мною,
Куда я ни войду, ты там.
Не ты ли легкою стопою
За мною ходишь по ночам?
Не ты ль проскальзываешь мимо,
Едва лишь в двери загляну,
Полувоздушна и незрима,
Подобна виденному сну?
Я часто думаю, не ты ли
Среди погоста, за гумном,
Сидела, молча, на могиле
В платочке ситцевом своем?
Я приближался – ты сидела,
Я подошел – ты отошла,
Спустилась к речке и запела...

На голос твой колокола
Откликнулись вечерним звоном...
И плакал я, и робко ждал...

Но за вечерним перезвоном
Твой милый голос затихал...
Еще мгновенье – нет ответа,
Платок мелькает за рекой...
Но знаю горестно, что где-то
Еще увидимся с тобой.

7 августа 1908

Из цикла «Город» (1904–1908)

Последний день

Ранним утром, когда люди ленились шевелиться,
Серый сон предчувствуя последних дней зимы,
Пробудились в комнате мужчина и блудница,
Медленно очнулись среди угарной тьмы.

Утро копошилось. Безднажно догорели свечи,
Опльввший огарок маячил в опльвших глазах.
За холодным окном дрожали женские плечи,
Мужчина перед зеркалом расчесывал пробор в волосах.

Но серое утро уже не обмануло:
Сегодня была она, как смерть, бледна,
Еще вечером у фонаря ее лицо блеснуло,
В этой самой комнате была влюблена.

Сегодня безобразно повисли складки рубашки,
На всем был серый постылый налет.
Углами торчала мебель, валялись окурки, бумажки,
Всех ужасней в комнате был красный комод.

И вдруг влетели звуки. Верба, раздувшая почки,
Раскачнулась под ветром, осыпая снег.
В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки,
И внизу стал слышен торопливый бег.

Люди суетливо выбегали за ворота
(Улицу скрывал дощатый забор).
Мальчишки, женщины, дворники заметили что-то,
Махали руками, чертя незнакомый узор.

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.
Там, на грязной улице, где люди собрались,
Женщина-блудница – от ложа пьяного желанья —
На коленях, в рубашке, поднимала руки ввысь...

Высоко – над домами – в тумане снежной бури,
На месте полуденных туч и полунощных звезд,
Розовым зигзагом в разверстой лазури
Тонкая рука распластала тонкий крест.

3 февраля 1904

Петр

Евг. Иванову

Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,
Блеснут витрины и тротуары.
В мерцаньи тусклых площадей
Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!

Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь

Фонарь манящий облачила!

Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов
Мужских – крикливых, женских – струнных!

Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

22 февраля 1904

«Вечность бросила в город...»

Вечность бросила в город
Оловянный закат.
Край небесный распорот,
Переулки гудят.

Все бессилье гаданья
У меня на плечах.
В окнах фабрик – преданья
О разгульных ночах.

Оловянные кровли —
Всем безумным приют.

В этот город торговли
Небеса не сойдут.

Этот воздух так гулок,
Так заманчив обман.
Уводи, переулок,
В дымно-сизый туман...

26 июня 1904

«Город в красные пределы...»

Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело
Кровью солнца окатил.

Стены фабрик, стекла окон,
Грязно-рыжее пальто,
Развевающийся локон —
Все закатом залито.

Блещут искристые гривы
Золотых, как жар, коней,
Мчатся бешеные дива
Жадных облачных грудей,

Красный дворник плещет ведра

С пьяно-алою водой,
Пляшут огненные бедра
Проститутки площадной,

И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.

28 июня 1904

«В кабаках, в переулках, в извивах...»

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

Были улицы пьяны от криков.
Были солнца в сверканьи витрин.
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были цари – не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
«Ты украсил их тонкие пальцы
Жемчугами несметной цены?»

Ты им дал разноцветные шубки?
Ты зажег их снопами лучей?
Ты раскрасил пунцовые губки,
Синеватые дуги бровей?»

Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать.
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать...

А они проходили все мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем не сравнимой,
Отлететь в голубые края.

И мелькала за парюю пара...
Ждал я Светлого Ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованьи тротуара,
Он одну приобщил небесам...

А вверху – на уступе опасном —
Тихо съезжившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

Декабрь 1904

Песенка

Она поет в печной трубе.
Ее веселый голос тонок.
Мгла опочила на тебе.
За дверью плачет твой ребенок.

Весна! весна! Как воздух пуст!
Как вечер непомерно скуден!
Вон – тощей вербы голый куст —
Унылый призрак долгих буден.

Вот вечер кутает окно
Сплошными белыми тенями.
Мое лицо освещено
Твоими страшными глазами.

Но не боюсь смотреть в упор,
В душе – бездумность и беспечность!
Там – вихрем разметен костер,
Но искры улетели в вечность...

Глаза горят, как две свечи.
О чем она тоскует звонко?
Пойдем. Не то пронзят ребенка
Безумных глаз твоих мечи.

9 апреля 1905

«Я вам поведал неземное...»

Я вам поведал неземное.
Я все сковал в воздушной мгле.
В ладье – топор. В мечте – герои.
Так я причаливал к земле.

Скамья ладьи красна от крови
Моей растерзанной мечты,
Но в каждом доме, в каждом крове
Ищу отважной красоты.

Я вижу: ваши девы слепы,
У юношей безогнен взор.
Назад! Во мглу! В глухие склепы!
Вам нужен бич, а не топор!

И скоро я расстанусь с вами,
И вы увидите меня
Вон там, за дымными горами,
Летящим в облаке огня!

16 апреля 1905

Невидимка

Веселье в ночном кабаке.
Над городом синяя дымка.
Под красной зарей вдалеке
Гуляет в полях Невидимка.

Танцует над топью болот,
Кольцом окружающих дома,
Протяжно зовет и поет
На голос, на голос знакомый.

Вам сладко вздыхать о любви,
Слепые, продажные твари?
Кто небо запачкал в крови?
Кто вывесил красный фонарик?

И воеет, как брошенный пес,
Мяучит, как сладкая кошка,
Пучки вечеряющих роз
Швыряет блудницам в окошко...

И ломится в черный притон
Ватага веселых и пьяных,
И каждый во мглу увлечен
Толпой проституток румяных...

В тени гробовой фонари,
Смолкает над городом грохот...
На красной полоске зари
Беззвучный качается хохот...

Вечерняя надпись пьяна
Над дверью отворенной в лавку.
Вмешалась в безумную давку
С расплеснутой чашей вина
На Звере Багряном – Жена.

16 апреля 1905

МИТИНГ

Он говорил умно и резко,
И тусклые зрачки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки.

А снизу устремлялись взоры
От многих тысяч глаз,
И он не чувствовал, что скоро
Пробьет последний час.

Его движенья были верны,
И голос был суров,
И борода качалась мерно

В такт запыленных слов.

И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.
Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел.

Но те, внизу, не понимали
Ни чисел, ни имен,
И знаком долга и печали
Никто не заклеямен.

И тихий ропот поднял руку,
И дрогнули огни.
Пронесся шум, подобный звуку
Упавшей головни.

Как будто свет из мрака брызнул,
Как будто был намек...
Толпа проснулась. Дико взвизгнул
Пронзительный свисток.

И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.

Не знаю, кто ударом камня
Убил его в толпе,

И струйка крови, помню ясно,
Осталась на столбе.

Еще свистки ломали воздух,
И крик еще стоял,
А он уж лег на вечный отдых
У входа в шумный зал...

Но огонек блеснул у входа...
Другие огоньки...
И звонко брякнули у свода
Взведенные курки.

И промелькнуло в беглом свете,
Как человек лежал,
И как солдат ружье над мертвым
Наперевес держал.

Черты лица бледней казались
От черной бороды,
Солдаты, молча, собирались
И строились в ряды.

И в тишине, внезапно вставшей,
Был светел круг лица,
Был тихий Ангел пролетающий,
И радость – без конца.

И были строги и спокойны

Открытые зрачки,
Над ними вытянулись стройно
Блестящие штыки.

Как будто, спрятанный у входа
За черной пастью дул,
Ночным дыханием свободы
Уверенно вздохнул.

10 октября 1905

«Виsia над городом всемирным...»

Виsia над городом всемирным,
В пыли прошедшей заточен,
Еще монарха в утре лирном
Самодержавный клонит сон.

И предок царственно-чугунный
Все так же бредит на змее,
И голос черни многострунный
Еще не властен на Неве.

Уже на домах веют флаги,
Готовы новые птенцы,
Но тихи струи невской влаги,
И слепы темные дворцы.

И, если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.

18 октября 1905

«Твое лицо бледней, чем было...»

Твое лицо бледней, чем было
В тот день, когда я подал знак,
Когда, замедлив, торопила
Ты легкий, предвечерний шаг.

Вот я стою, всему покорный,
У немерцающей стены.
Что сердце? Свиток чудотворный,
Где страсть и горе сочтены!

Поверь, мы оба небо знали:
Звездой кровавой ты текла,
Я измерял твой путь в печали,
Когда ты падать начала.

Мы знали знаньем несказанным
Одну и ту же высоту
И вместе пали за туманом,
Чертя уклонную черту.

Но я нашел тебя и встретил
В неосвященных воротах,
И этот взор – не меньше светел,
Чем был в туманных высотах!

Комета! Я прочел в светилах
Всю повесть раннюю твою,
И лживый блеск созвездий милых
Под черным шелком узнаю!

Ты путь свершаешь предо мною,
Уходишь в тени, как тогда,
И то же небо за тобою,
И шлейф влачишь, как та звезда!

Не медли, в темных тѣнях кроясь,
Не бойся вспомнить и взглянуть.
Серебряный твой узкий пояс —
Сужденный магу млечный путь.

Март 1906

Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!
Ты, право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906. Озерки

«Там дамы щеголяют модами...»

Там дамы щеголяют модами,
Там всякий лицеист остер —
Над скукой дач, над огородами,
Над пылью солнечных озер.

Туда манит перстами алыми
И дачников волнует зря
Над запыленными вокзалами
Недостижимая заря.

Там, где скучаю так мучительно,
Ко мне приходит иногда
Она – бесстыдно упоительна
И унизительно горда.

За толстыми пивными кружками,
За сном привычной суеты
Сквозит вуаль, покрытый мушками,
Глаза и мелкие черты.

Чего же жду я, очарованный
Моей счастливою звездой,
И оглушенный и взволнованный
Вином, зарею и тобой?

Вздыхая древними поверьями,
Шелками черными шумна,
Под шлемом с траурными перьями
И ты вином оглушена?

Средь этой пошлости таинственной,
Скажи, что́ делать мне с тобой —
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно-голубой?

28 апреля 1911

«Передвечернею порою...»

Передвечернею порою
Сходил я в сумерки с горы,
И вот передо мной – за мглою —
Черты печальные сестры.

Она идет неслышным шагом,
За нею шевелится мгла,
И по долинам, по оврагам
Вздыхают груди без числа.

«Сестра, откуда в дождь и холод
Идешь с печальной толпой,
Кого бичами выгнал голод
В могилы жизни кочевой?»

Вот подошла, остановилась
И факел подняла во мгле,
И тихим светом озарилось
Все, что незримо на земле.

И там, в канавах придорожных,
Я, содрогаясь, разглядел
Черты мучений невозможных
И корчи ослабевших тел.

И вновь опущен факел душный,
И, улыбаясь мне, прошла —
Такой же дымной и воздушной,
Как окружающая мгла.

Но я запомнил эти лица
И тишину пустых орбит,
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит.

Сентябрь 1906

Холодный день

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где прокляли друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье,
Вон там – в заплеванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье – праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа,
Мне – молоток, тебе – игла.

Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось, ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906

Окна во двор

Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора.
Светает. Белеет одежда
В рассеянном свете утра.

Я слышу – старинные речи
Проснулись глубоко на дне.
Вон теплятся желтые свечи,
Забывшие в чьем-то окне.

Голодная кошка прижалась
У желоба утренних крыш.
Заплакать – одно мне осталось,
И слушать, как мирно ты спишь.

Ты спишь, а на улице тихо,
И я умираю с тоски,

И злое, голодное Лихо
Упорно стучится в виски...

Эй, малый, взгляни мне в оконце!..
Да нет, не заглянешь – пройдешь.
Совсем я на зимнее солнце,
На глупое солнце похож.

Октябрь 1906

Пожар

Понеслись, блеснули в очи
Огневые языки,
Золотые брызги ночи,
Городские мотыльки.

Зданье дымом затянуло,
Толпы темные текут...

Но вдали несутся гулы,
Светы новые бегут...

Крики брошены горстями
Золотых монет.
Над вспененными конями
Факел стелет красный свет.

И, крутя живые спицы,
Мчатся вихрем колесницы,
Впереди – скакун с трубой
Над испуганной толпой.

Скок по камню тяжело звонок,
Голос хриплой меди тонок,
Расплеснулась, широка,
Гулкой улицы река.

На блистательные шлемы
Каплет снежная роса...
Дети ночи черной – где мы?..
Чьи зывают голоса?..

Нет, опять погаснут зданья,
Нет, опять он обманул, —
Отдаленного восстанья
Надвигающийся гул...

Декабрь 1906

Клеопатра

Открыт паноптикум печальный
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим... В гробу царица ждет.

Она лежит в гробу стеклянном,
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

Она раскинулась лениво —
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз,
Пришел взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ...

Тебя рассматривает каждый,
Но, если б гроб твой не был пуст,
Я услышал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь – я воск. Я тлен. Я прах».

«Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!

Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь – будем оба
В веках равны перед судьбой?»

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колыхнется едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

«Тогда я исторгала грозы,
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта – слезы,
У пьяной проститутки – смех».

16 декабря 1907

Из цикла «Снежная маска» (1907)

Снежное вино

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

Я опрокинут в темных струях
И вновь вдыхаю, не любя,
Забывтый сон о поцелуях,
О снежных выюгах вокруг тебя.

И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим собольим мехом
Гуляет ветер голубой.

И как, глядясь в живые струи,
Не увидеть себя в венце?
Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице?

29 декабря 1906

Второе крещение

Открыли дверь мою метели,
Застыла горница моя,
И в новой снеговой купели
Крещен вторым крещеньем я.

И в новый мир вступая, знаю,
Что люди есть, и есть дела.
Что путь открыт наверно к раю
Всем, кто идет путями зла.

Я так устал от ласк подруги
На застывающей земле.
И драгоценный камень выюги
Сверкает льдиной на челе.

И гордость нового крещения
Мне сердце обратила в лед.
Ты мне сулишь еще мгновенья?
Пророчишь, что весна придет?

Но посмотри, как сердце радо!
Заграждена снегами твердь.
Весны не будет, и не надо:
Крещеньем третьим будет – Смерть.

3 января 1907

Влюбленность

и опять твой сладкий сумрак, влюбленность.
И опять: «Навеки. Опустя глаза твои».
И дней туманность, и ночная бессонность,
И вдали, в волнах, вдали – пролетевшие ладьи.

И чему-то над равнинами снежными
Улыбнувшаяся задумчиво заря.
И ты, осенившая крылами белоснежными
На вечный покой отходящего царя.

Ангел, гневно брови изламывающий,
Два луча – два меча скрестил в вышине.
Но в гневах стали звенящей и падающей
Твоя улыбка струится во мне.

4 января 1907

В углу дивана

Но в камине дозвенели
Угольки.

За окошком догорели
Огоньки.

И на вьюжном море тонут
Корабли.

И над южным морем стонут
Журавли.

Верь мне, в этом мире солнца
Больше нет.

Верь лишь мне, ночное сердце,
Я – поэт!

Я, какие хочешь, сказки
Расскажу

И, какие хочешь, маски
Приведу.

И пройдут любые тени
При огне,

Странных очерки видений
На стене.

И любой колени склонит
Пред тобой...

И любой цветок уронит
Голубой...

9 января 1907

На снежном костре

И взвился костер высокий
Над распятым на кресте.
Равнодушны, снежнооки,
Ходят ночи в высоте.

Молодые ходят ночи,
Сестры-пряжи снежных зим,
И глядят, открывши очи,
Завивают белый дым.

И крылатыми очами
Нежно смотрит высота.
Вейся, легкий, вейся, пламень,
Увивайся вокруг креста!

В снежной маске, рыцарь милый,
В снежной маске ты гори!
Я ль не пела, не любила,
Поцелуев не дарила
От зари и до зари?

Будь и ты моей любовью,
Милый рыцарь, я стройна,
Милый рыцарь, снежной кровью
Я была тебе верна.

Я была верна три ночи,
Завивалась и звала,
Я дала глядеть мне в очи,
Крылья легкие дала...

Так гори, и яр и светел,
Я же – легкою рукой
Размету твой легкий пепел
По равнине снеговой.

13 января 1907

Из цикла «Фаина» (1906–1908)

«Я в дольний мир вошла, как в ложу...»

Н. Н. В.

Я в дольний мир вошла, как в ложу.
Театр взволнованный погас.
И я одна лишь мрак тревожу

Живым огнем крылатых глаз.

Они поют из темной ложи:
«Найди. Люби. Возьми. Умчи».
И все, кто властен и ничтожен,
Опустят предо мной мечи.

И все придут, как волны в море,
Как за грозой идет гроза.
Пылайте, траурные зори,
Мои крылатые глаза!

Взор мой – факел, к высям кинут,
Словно в небо опрокинут
Кубок темного вина!
Тонкий стан мой шелком схвачен.
Темный жребий вам назначен,
Люди! Я стройна!

Я – звезда мечтаний нежных,
И в венце метелей снежных
Я плыву, скользя...
В серебре метелей кроюсь,
Ты горишь, мой узкий пояс —
Млечная стезя!

1 января 1907

«Ушла. Но гиацинты ждали...»

Ушла. Но гиацинты ждали,
И день не разбудил окна,
И в легких складках женской шали
Цвела ночная тишина.

В косых лучах вечерней пыли,
Я знаю, ты придешь опять
Благоуханьем нильских лилий
Меня пленять и опьянять.

Мне слабость этих рук знакома,
И эта шепчущая речь,
И стройной талии истома,
И матовость покатых плеч.

Но в имени твоём – безмерность,
И рыжий сумрак глаз твоих
Таит змеиную неверность
И ночь преданий грозových.

И, миру дольнему подвластна,
Меж всех – не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.

Войди, своей не зная воли,
И, добрая, в глаза взгляни,
И темным взором острой боли
Живое сердце полосни.

Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.

31 марта 1907

Осенняя любовь

1

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалет гроздь,
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь,

Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,

Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, —

Тогда – просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах – такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой – будет ли причален
К моей распятой высоте?

2

И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.

И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланитах.
Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза невозможным.

И радость, и слава —
Все в этом сияньи бездонном

И дальнем.

Но смятые травы
Печальны,
И листья крутятся в лесу обнаженном...

И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне все жальче и жальче...

О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?

3

Под ветром холодные плечи
Твои обнимать так отратно:
Ты думаешь – нежная ласка,
Я знаю – восторг мятежа!

И теплятся очи, как свечи
Ночные, и слушаю жадно —
Шевелится страшная сказка,
И звездная дышит межа...

О, в этот сияющий вечер

Ты будешь все так же прекрасна,
И, верная темному раю,
Ты будешь мне светлой звездой!

Я знаю, что холоден ветер,
Я верю, что осень бесстрашна!
Но в темном плаще не узнают,
Что ты пиновала со мной!..

И мчимся в осенние дали,
И слушаем дальние трубы,
И мерим ночные дороги,
Холодные выси мои...

Часы торжества миновали —
Мои опьяненные губы
Целуют в предсмертной тревоге
Холодные губы твои.

3 октября 1907

«В те ночи светлые, пустые...»

В те ночи светлые, пустые,
Когда в Неву глядят мосты,
Они встречались, как чужие,
Забыв, что есть простое *ты*.

И каждый был красив и молод,
Но, окрыляясь пустотой,
Она таила странный холод
Под одичалой красотой.

И, сердцем вечно строгим мера,
Он не умел, не мог любить.
Она любила только зверя
В нем раздражить – и укротить.

И чуждый – чуждой жал он руки,
И север сам, спеша помочь
Красивой нежности и скуке,
В день превращал живую ночь.

Так, в светлоте ночной пустыни,
В объятья ночи не спеша,
Гляделась в купол бледно-синий
Их обреченная душа.

10 октября 1907

Снежная дева

Она пришла из дикой дали —
Ночная дочь иных времен.
Ее родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.

Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невою
Она встречала легким вскриком
Под бурей ночи снеговой.

Бывало, вьюга ей осыпет
Звездами плечи, грудь и стан, —
Все снится ей родной Египет
Сквозь тусклый северный туман.

И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла.

Ей стали нравиться громады,
Уснувшие в ночной глуши,
И в окнах тихие лампы
Слились с мечтой ее души.

Она узнала зыбь и дымы,
Огни, и мраки, и дома —
Весь город мой непостижимый —
Непостижимая сама.

Она дарит мне перстень вьюги
За то, что плащ мой полон звезд,
За то, что я в стальной кольчуге,

И на кольчуге – строгий крест.

Она глядит мне прямо в очи,
Хваля неробкого врага.
С полей ее холодной ночи
В мой дух врываются снега.

Но сердце Снежной Девы немо
И никогда не примет меч,
Чтобы ремень стального шлема
Рукою страстною рассечь.

И я, как вождь враждебной рати,
Всегда закованный в броню,
Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню.

17 октября 1907

Заклятие огнем и мраком

*За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, траву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне.*

Лермонтов

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха – позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.